



Отец Сумерек

Юрий Погосов

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Юрий Погосов

Отец Сумерек

Серия «Отец Сумерек», книга 1

<https://litres.ru/74647199>

SelfPub; 2026

Аннотация

Когда-то в Клермоне мальчика-сироту спасла незнакомка. Она дала ему хлеб и велела жить — назло тем, кто считал его чужим. Десять лет спустя Демиан отправляется на Север, надеясь найти место, где его примут. Там он обретает друзей и дом, но пророчество вѣльвы и древняя цепь печатей втягивают его в борьбу, от исхода которой зависит судьба целого края. Чтобы остановить надвигающуюся угрозу, Демиану придётся сделать выбор, цена которого окажется выше, чем он мог представить. Лишившись почти всего, он возвращается в Империю. Случайная находка в старом архиве приводит его к следу женщины из детского воспоминания — и к тайне, способной поколебать доверие к самой Империи. Теперь Демиану предстоит разобраться, кому можно верить, где заканчивается справедливость и оправдывает ли высокая цель средства, которыми её добиваются. История о потерях и обретённом доме, о цене выбора и о том, что иногда самый важный поступок — не победить, а не отдать другим право решать, кому позволено жить.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СЕВЕР	4
ПРОЛОГ	5
ГЛАВА 1. Кружка пива	16
ГЛАВА 2. Под скалой	33
ГЛАВА 3. Белый волк	66
ГЛАВА 4. Человек со сломанным колесом	78
ГЛАВА 5. Хравнсфьорд	99
ГЛАВА 6. Кровь и травы	111
Конец ознакомительного фрагмента.	129

Отец Сумерек

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СЕВЕР

ПРОЛОГ

Дождь шёл уже третьи сутки, и столица пахла так, как пахнет утопленник, которого выволокли из воды на вторые сутки, — сладковато, тяжело, с гнильцой. Вода валила с чёрного неба сплошной стеной, без просвета, будто кто-то наверху опрокинул весь океан разом и забыл заткнуть дыру. Она хлестала по дранке крыш, стекала ручьями по кривым бокам домов, вздувала между брусчаткой бурые пузыри и несла по сточным желобам всё то, что город за день выблевал из себя: рыбу, требуху, щепу, конский навоз, обрывки парусины,дохлую кошку с раздутым брюхом.

Портовая улица тянулась вдоль канала, узкая и кривая, как хребет старой клячи. Дома здесь лепились друг к другу, подпирая соседа плечом, чтобы не завалиться в воду, — покосившиеся, в два-три яруса, с провисшими балконами и ставнями, которые уже лет десять как никто не чинил. Верхние этажи нависали над мостовой так низко, что днём сюда почти не заглядывало солнце, а ночью — тем более. Фонарей не жгли. Какой дурак станет жечь масло ради портовых крыс? Свет был только один — мутный, рыжий, дрожащий, — он сочился из щелей трактира «Сломанный киль» в полу-сотне шагов, и оттуда же, перекрывая шум ливня, доносился пьяный рёв, хохот и визг какой-то бабы.

Под навесом, в углу, где стена дома смыкалась с покосившимся крыльцом, сидел мальчик.

Ему было, может, восемь. Может, девять — он и сам толком не знал, никто ему этого не говорил, а сам он считать годы не умел. Худой до того, что сквозь натянутую серую кожу проступали рёбра и острые косточки плеч. Волосы, слипшиеся от грязи и дождя, падали на лицо, и из-под них глядели два больших глаза — светлые, не по-людски светлые, цвета талого льда. Одежды на нём было — одно название: рубаха не по росту, драная на локтях, да штаны, подвязанные верёвкой, насквозь мокрые, облепившие тощие ноги. Башмаков не было. Ноги он подобрал под себя и обхватил руками, пытаюсь удержать то последнее тепло, что ещё оставалось в теле.

Он дрожал. Дрожал давно, уже не замечая этого, — так дрожит загнанный зверёк, которому некуда бежать. Зубы стучали сами собой, мелко-мелко. Рядом, под тем же навесом, вповалку лежали трое пьяниц. Один храпел, раскинув руки, лицом в луже собственной блевотины; от него несло кислой брагой, мочой и чем-то ещё, таким мерзким, что мальчик старался дышать ртом. Другой что-то бормотал во сне, подёргивая ногой. Третий лежал тихо — так тихо, что мальчик уже час боялся на него смотреть, потому что не был уверен, спит тот или нет.

Живот свело давно. Сперва болело, грызло, тянуло — а теперь уже и не болело, просто внутри будто сжался холодный кулак и не разжимался. В последний раз он ел три дня

назад: выудил из-под прилавка на рыбном ряду рыбью голову, которую даже кошки обходили стороной, и обсосал её дочиста. С тех пор — ничего. Вчера он попробовал попросить у сходявших с барки матросов, но один только харкнул ему под ноги, а другой замахнулся сапогом, и мальчик понял: лучше молчать. Он давно понял, что лучше молчать.

Он поднял лицо к небу — туда, где за крышами и дождём не было видно ни единой звезды, одна сплошная чернота, — и подумал о матери. Лица её он уже не помнил. Помнил только тепло — и голос, тихий, напевавший что-то на языке, которого он больше ни от кого не слышал. Её не стало две зимы назад. С тех пор он был один. Совсем один. У него не осталось никого — ни родни, ни дома, ни имени, которое кто-то захотел бы произнести без плевка.

«Зачем?» — думал он, глядя в черноту. Мысль была простая, спокойная, без слёз. Слёзы у него кончились ещё прошлой зимой. «Зачем ещё одна ночь? И ещё одна? И ещё? Чтобы снова мёрзнуть. Снова голодать. Снова ждать, пока тебя пнут».

Канал был в двух шагах. Вода в нём, чёрная и маслянистая, вздулась от дождя и несла мусор мимо свай с глухим, равнодушным плеском. Говорили, кто туда падал — больше не всплывал: засасывало под баржи, под сваи, в ил. Быстро. Говорили, что это не больно. Холодно — а потом ничего.

Мальчик медленно поднялся. Ноги затекли и держали плохо, он качнулся, упёрся рукой в мокрую стену. Пересту-

пил через храпящего пьяницу, вышел из-под навеса — и дождь тут же обрушился на него всей тяжестью, промочив насквозь за один вдох, залепив глаза. Он уже почти ничего не чувствовал.

У края мостовой стоял низкий дощатый забор — ограда, отделявшая улицу от спуска к воде. Мальчик подошёл, ухватился посиневшими пальцами за скользкие доски и полез. Забрался наверх, сел на мокрый край, свесил ноги над чёрной водой. Внизу плескалось. Тянуло холодом и гнилью.

Он закрыл глаза. Вдохнул. И подался вперёд.

И в этот самый миг, сквозь ровный гул дождя, сзади ударил другой звук. Дробный, тяжёлый, частый. Копыта. Много копыт — по мокрой брусчатке, галопом, прямо на него.

Мальчик дёрнулся, обернулся через плечо — и забыл, что сидит на самом краю.

Из темноты улицы, разбрызгивая воду, вылетал отряд. Всадники — человек восемь, а то и десять — шли плотно, тесной кучей, и всё это катилось прямо на него стеной мокрого железа и конского мяса. В тусклом рыжем свете из трактирных щелей он успел выхватить взглядом только куски: тяжёлые кирасы, потемневшие от дождя и покрытые каплями, как рыба чешуя; плащи — промокшие насквозь, облепившие спины; кольчужные капюшоны под шлемами; длинные ножны мечей, бьющие по бокам лошадей. Морды коней — оскаленные, в пене, с выпученными глазами. Над всадниками тряпкой мотался на ветру мокрый стяг, и что на нём было

вышито — не разобрать.

А в самой середине отряда, окружённая со всех сторон, скакала фигура меньше и тоньше прочих. Всадник — нет, всадница. Тёмный дорожный плащ, глубокий капюшон, из-под которого лица почти не видно — только подбородок да блеск глаз. Остальные жались к ней, прикрывая со всех сторон, как прикрывают самое дорогое.

Всё это мальчик увидел за один удар сердца.

А потом гул копыт ударил ему в самое нутро, доски под ним дрогнули, посиневшие пальцы сорвались со скользкого дерева — и он полетел. Но не вперёд, в воду, как собирался мигом ранее. Назад. На мостовую. Прямо под копыта.

Он рухнул на камни, в ледяную лужу, и в последнее мгновение успел только вскинуть руки к лицу и подумать совсем ясно и просто: «Вот и всё. Раздавят».

Крик. Храп коня над самой головой. Передовой всадник рванул поводья так, что конь взвился на дыбы, молотя воздух копытами в ладони от мальчишеской головы, — заржал дико, завалился набок, — и выбросил седока из седла. Человек в железе грохнулся о брусчатку, лязгнув доспехом, покатился, расплескав грязь.

На миг всё замерло. Только дождь, да храп коней, да чей-то голос осаживал лошадей.

А потом упавший поднялся.

Это был здоровенный мужик — на голову выше прочих, с квадратной челюстью, заросшей чёрной щетиной, с переби-

тым когда-то носом. Из-под съехавшего шлема текла по лицу вода пополам с грязью. Он сплюнул, зыркнул по сторонам — и увидел мальчишку, барахтавшегося в луже.

— Ах ты ж... — выдохнул он и шагнул ближе. — Ты, падаль! Чуть шею мне не свернул, гнида!

— Я не... — пискнул мальчик, отползая на локтях. — Я нечаянно, дяденька, я...

— Нечаянно?!

Сапог врезался ему под рёбра так, что воздух выбило из груди разом, и мальчик скрючился, хватая ртом пустоту. Второй удар пришёлся в спину. Третий — в бедро, когда он попытался свернуться клубком, прикрыть голову тонкими руками.

— Я тебе щас, падла, покажу «нечаянно»! — рычал солдат, вкладываясь в каждый пинок всем телом, отводя душу. Железные носки сапог рвали мокрую ткань, били в кость. — Под копыта кидаться?! Да я тебя, падаль, по кишкам размажу, по этой грязи размажу, чтоб!..

Мальчик не кричал. Он давно научился не кричать — крик только раззадоривает. Он только сжимался всё туже, всё меньше, и перед глазами у него прыгали рыжие пятна, а во рту стало солоно и тепло. Он уже не отползал. Он просто ждал, когда это кончится. Так или иначе.

— Довольно.

Голос был негромкий. Но он резанул сквозь шум дождя и рычание солдата, как нож сквозь парусину, — и солдат замер

с занесённой для нового удара ногой.

Один голос. Одно слово. И отряд будто окаменел.

Всадница в середине уже спешила. Кто-то из солдат подался к ней:

— Госпожа, не надо, не ступайте в эту...

Она не слушала. Соскользнула с седла легко, без усилия, и пошла прямо к мальчику — по лужам, не разбирая дороги, подол тёмного плаща волочился по грязи и воде. Солдаты расступились.

Тот, здоровый, что бил, опустил ногу и попятился, бормоча:

— Госпожа, вы бы... не трогали б вы его. Это ж тварь портовая, вшивая вся, заразная. Выродок. Руки обо него март...

— Я сказала — довольно, Герольт, — произнесла она, не оборачиваясь, и в ровном её голосе была такая тихая сталь, что громила сразу замолчал и уставился в землю. — Ты поднял сапог на ребёнка. На голодного ребёнка. И ты ответишь за это — не передо мной, так перед тем, кто судит строже. За это тебя накажут. Даю слово.

Она опустила на корточки перед мальчиком, прямо в грязь, не думая ни о плаще, ни о платье под ним. Капюшон чуть сполз, и в рыжем трактирном свете мальчик впервые разглядел её лицо — молодое, совсем молодое, бледное, с усталыми глазами, в которых не было ни брезгливости, ни страха. Только что-то, чему он не знал названия, потому что

никогда прежде этого к себе не видел.

— Посмотри на меня, — сказала она тихо. — Ну же. Не бойся.

Мальчик медленно разжался. Поднял разбитое лицо. Из рассечённой брови текла кровь, смешиваясь с дождём, губа была разбита. Он смотрел на неё снизу вверх — недоверчиво, как смотрит побитый пёс на протянутую руку, ожидая, что следом прилетит камень.

Но она не ударила. Она протянула ему руку — узкую ладонь, открытую.

— Госпожа! — выдохнул кто-то из солдат, и в голосе было почти отвращение. — Да не касайтесь вы его, ради Бога! Это ж нелюдь недоделанная, вы ж видите — уши, глаза. Полукровка. Эльфский выродок. Чистую кровь поганить об этакое...

— Он замолчит сейчас, — не повышая голоса, сказала она в сторону, — или до конца пути пойдёт пешком.

Солдат замолчал.

Она так и держала руку протянутой. Мальчик не взял её — не посмел. Тогда она сама, медленно, чтобы не напугать, коснулась его плеча, лёгонько, едва-едва.

— Прости, — сказала она. — Прости его. И прости меня. Я бы хотела сделать для тебя больше. Я правда хотела бы. — Она оглянулась через плечо, туда, где темнела улица и ждали всадники, и на лицо её легла тень. — Но мне нельзя здесь оставаться. Они ищут меня, и если найдут тут... будет хуже.

И тебе тоже.

Она сунула руку в небольшую седельную сумку, что сняла с луки, и достала то, что было завернуто в чистую холстину. Развернула. Горбушка хлеба — тёмного, плотного, настоящего. И кусок жёлтого сыра размером с два детских кулака.

Она вложила это мальчику в руки — в его трясущиеся, грязные, посиневшие руки — и сомкнула его пальцы поверх, своими.

— Держи. Ешь не сразу, понемногу, слышишь? А то станет дурно. Понемногу.

Мальчик смотрел на хлеб. На сыр. На её ладони поверх своих. И не мог вымолвить ни слова. В горле стоял ком, а глаза, из которых ещё прошлой зимой ушли все слёзы, вдруг защищало.

— Живи, — сказала она совсем тихо, только ему одному. — Слышишь меня? Что бы они ни говорили — живи. Назло им всем.

Она поднялась. Поправила капюшон, скрывая лицо. Миг помедлила, глядя на него сверху, — а потом повернулась и пошла к коню. Солдат посадил её в седло. Она тронула поводья.

— Герольт — пешим до заставы, — бросила она, не оборачиваясь. — И без разговоров.

Отряд тронулся. Копыта снова ударили по брусчатке, стена мокрого железа качнулась и покатила прочь по кривой улице, в темноту, разбрызгивая воду. Громила Герольт, баг-

ровый и злой, повёл в поводу своего коня следом, пешком, и, поравнявшись с мальчиком, сплюнул густую слюну — тягучую, тёмную — прямо на камень у его босой ноги.

— Живи, значит, — процедил он сверху, с ненавистью. — Живи, выродок. Полукровка эльфская. Тьфу. Таких, как ты, давить надо, покуда малые.

И пошёл дальше, лязгая железом, не оглядываясь.

Мальчик остался один посреди пустой мостовой. Дождь так же валил стеной, вода так же текла по лицу, смывая кровь. Пьяницы под навесом так же храпели в своей блевотине. Канал так же плескался чёрной водой в двух шагах — там, куда он собирался шагнуть всего несколько минут назад.

Он посмотрел на забор. Потом — на хлеб и сыр в руках.

И улыбнулся.

Разбитыми губами, сквозь кровь и дождь, — улыбнулся так, как не улыбался, сколько себя помнил. Потому что впервые, впервые за всю его короткую, собачью жизнь кто-то сделал для него что-то доброе. Не пнул. Не плюнул. Не прогнал. Назвал не тварью — просто посмотрел в глаза и сказал: *жи-ви*.

Он прижал хлеб и сыр к груди — крепко-крепко, обеими руками, будто их могли отнять, — и, прихрамывая, пошёл обратно, под навес, в свой угол. Опустился на мокрые доски. Отломил маленький кусочек хлеба — совсем маленький, как она велела, понемногу, — и положил в рот. Жевал медленно,

закрыв глаза, и это было вкуснее всего, что он ел за всю свою жизнь.

А потом поднял лицо вверх.

И там, высоко над кривыми крышами, над чёрными трубами и мокрым стягом, уходившим в темноту, — дождь впервые за трое суток начал редеть. Тучи расползались, расходились рваными клочьями, и в прореху между ними проглянуло чистое, вымытое ночное небо — всё в холодных ярких звёздах.

Мальчик смотрел на них, жевал хлеб и улыбался. Он ещё не знал, что эта ночь не кончила его жизнь. Она её только начала.

ГЛАВА 1. Кружка пива

Ему снился тот же сон, что и всегда.

Снились вода и дождь, и холод, и рыжий свет из щелей трактира, и топот копыт, накатывающий из темноты. Снилось, как доски уходят из-под ног, как мокрые камни бьют в лицо, как сапог врежется под рёбра — раз, другой, третий, — и как сквозь всё это вдруг проходит один-единственный негромкий голос: *довольно*. И рука. Узкая ладонь, открытая, протянутая прямо ему. И хлеб — тёмный, плотный, настоящий. И голос: *живи*. *Слышишь меня? Что бы они ни говорили — живи*.

Десять лет прошло, а он всё ещё помнил это до последней мелочи. Помнил запах дождя, помнил вкус крови во рту, помнил, как её пальцы сомкнулись поверх его пальцев на хлебе. Лица её, правда, так и не запомнил толком — только глаза. Усталые, серые, без брезгливости. И голос. Голос он узнал бы из тысячи, где угодно, хоть на краю света.

Ни имени. Ни дома. Ни следа. Как её звали — он не знал. Кто она была — тоже. Знал только, что если бы не она, он бы тогда шагнул с того забора, и всё. Никакого Демиана бы сейчас не было, и трава бы над ним давно выросла, и никто бы не вспомнил.

Он открыл глаза.

Небо над ним было высокое, ясное, чуть тронутое золотом по восточному краю — раннее утро, солнце только поднималось из-за кромки дальнего леса. Он лежал на опушке, на подстилке из сухого папоротника, укрытый собственным плащом, и над ним тихо шелестели листья старого дуба. Пахло мхом, землёй и хвоей — тем сытым, спокойным лесным запахом, которого он не променял бы ни на одну городскую перину.

Дэмиан сел, потёр лицо ладонью — и, как всегда после этого сна, некоторое время просто сидел неподвижно, глядя в одну точку. Сон этот ходил за ним сколько он себя помнил. Приходил по три-четыре раза в месяц, а то и чаще, всегда одинаковый, и всегда оставлял после себя эту странную глухую тяжесть под грудиной — не то тоску, не то благодарность, которую некому высказать.

Он провёл рукой по лицу, откинул со лба прядь давно невымытых чёрных волос и потянулся.

Острые уши выдавали в нём кровь некогда благородного народа, но выдали не до конца: у чистокровных эльфов уши были длинны и изящны, как выточенные из слоновой кости, а у него — коротковатые, заострённые лишь к самой верхушке, будто кто-то потянул их наспех и бросил на полпути. Ростом он тоже не вышел: мужчины эльфов тянулись к двум с лишним метрам, женщины едва уступали — а в нём было от силы аршина два с половиной, обычная человеческая кость да человеческая мягкость под кожей.

А вот волосы... Волосы были чёрные. Иссиня-чёрные, как вороново крыло, — и вот это уже было против природы. У эльфов не бывает чёрных волос. У них бывает серебро, золото, пепел, цвет осенней пшеницы, — но не эта смоль. И не эта щетина.

Демиан провёл ладонью по подбородку — под пальцами колко шуршала трёхдневная щетина, жёсткая, тёмная. У чистокровных эльфов борода не растёт вовсе. Никогда. Ни мужу, ни старцу. А у него росла — и он брился, когда была вода и время, и снова зарастал в седле и в лесу, и каждый раз, глядя на себя в придорожную лужу, думал об одном и том же: *ни там, ни здесь. Ни человек, ни эльф. Просто выродец.*

Лицо у него, впрочем, вышло ровное — тут природе не в чем было его упрекнуть. Молодое ещё, двадцатилетнее, с чистыми линиями: нос прямой, скулы высокие, губы твёрдые. Глаза светлые, цвета талого льда, — того самого, что он унаследовал от матери и что так пугал трактирную братию. И только когда смотрел он в лужу повнимательнее, на дне мелькала тень горькой усмешки: красивое, мол, вышло лицо, даром что носить его некому и не для кого.

Он оделся.

Рубаха — простая, льняная, серая от стирки и дороги, когда-то давно купленная с рук на ярмарке, зашитая в трёх местах обычной ниткой. Кожаные штаны — тёртые, в потёртостях и пятнах, но крепкие, державшие его в лесу и на дороге уже второй год. Сапоги — разношенные, на толстой подош-

ве, мягкие, с одной заплатой на левом носке. На поясе — ремень с пряжкой, стёртой до желтизны, и на ремне, сбоку, небольшая сумка: там трут, кресало, кремёнок, кусок соли в тряпице да пара медяков, что остались от прошлого заработка. Кинжал в простых ножнах — не оружие благородного, а рабочий нож: снять шкуру, вырезать жилу, обрезать верёвку, а при нужде — воткнуть в брюхо тому, кто первый потянет к нему руку.

За спиной, на перекинутом через плечо ремне, висел самодельный лук. Не костяной, не составной, не тот, из которого стреляли эльфийские короли на охоте; самый обычный тисовый лук — сам вырубил заготовку, сам выстругал, сам выварил в смоле и выгладил, потому что купить хороший не было на что. К нему — колчан, сшитый из старой кожи, и в колчане десяток стрел: половина оперённые, половина — так, с обломками перьев, что удалось подобрать. И сверху, поверх всего, — чёрный капюшон дорожного плаща. Демиан накинул его на голову, подтянул с боков — и уши скрылись. Пусть смотрят на него как на человека в плаще. Пусть думают что угодно. Меньше вопросов — меньше проблем.

Погода стояла как раз такая, о какой в этих краях только и мечтать: ни холодно, ни жарко, солнце мягкое, ветер лёгкий, небо — чистое, вымытое вчерашним дождём. Лето держалось ровное, доброе, и лес дышал спокойно, без бури, без духоты.

Демиан развёл маленький, почти бездымный костерок, и в

остывших углях разогрел остатки вчерашнего кролика. Кролика он подстрелил накануне вечером — одна стрела, чисто, прямо в глаз с пятнадцати шагов, чтобы не испортить шкуру. Мясо он съел ещё тёплым, прикопал в угли, а теперь доедал то, что осталось: жестковатую заднюю ногу, подгорелую с одного бока, без соли, потому что соль он берёт. Не сытно — но по-походному добротнo. Лучше, чем ничего. Лучшее, что у него бывало по утрам.

Он собрал нехитрый свой скарб, затушил угли землёй до последнего тлеющего зерна — леса он жёл в детстве, набегавшись от людей, и привычку эту пронёс через все годы, — поднял лук, перекинул колчан и двинулся на северо-восток, по еле заметной звериной тропке, к ближайшей деревне.

Деревня называлась Вереск — Демиан заметил её ещё вчера, с холма: кучка крытых соломой дворов, шпиль дощатой церквушки, да скотный выгон, где паслось больше коз, чем коров. Триста шагов людей, не больше. Такие деревни он любил — маленькие, глухие, у чёрта на куличках; здесь редко кому было дело до заезжего человека, и здесь ему легче всего было сойти за своего.

Он вошёл в деревню к полудню, когда улица была пуста, — бабы в поле, мужики кто где, собаки дрыхли. Прошёл мимо колодца, где плескалась какая-то девчонка, не поднимая глаз и не поднимая капюшона. И свернул к таверне — единственной на всё село: приземистое бревенчатое строение с вывеской, на которой от дождя и времени не читалось уже

ничего, благо и читать в ней было нечего.

Внутри было дымно, тепло и душно — самый раз. Демиан толкнул дверь, пригнул голову под низкой притолокой и вошёл. Не спеша. Не глядя по сторонам лишнего. Так, чтобы никто не обернулся, а если обернулся — то тут же и забыл.

Он прошёл через общий зал, мимо длинных столов, мимо очага, где на вертеле крутился какой-то кабанчик, и устроился в самом дальнем углу — там, где тень погуще, где его самого почти не видно, а ему хорошо видно всех. Прислонил лук к стене, сел спиной в угол, лицом — ко входу. Эту привычку в нём вбили не родичи и не наставники, а городские улицы и портовая шпана: кто садится спиной к двери, тот однажды уже не встанет.

Подошла хозяйка — дородная, краснолицая, с засаленным фартуком на боках, — оглядела его быстрым оценивающим взглядом: плащ грязный, сапоги стоптанные, вид небогатый — и сразу потеряла к нему всякий интерес.

— Чего? — спросила без предисловий.

— Кружку пива, — сказал Демиан ровно.

Она хмыкнула, ушла и вернулась с глиняной кружкой — тяжёлой, тёмной, с кривой трещинкой сбоку. Поставила перед ним, шлёпнув по столу так, что пиво плеснуло через край.

— Деньги хоть есть? Сначала плати — потом пей.

Он молча положил на стол монету. Хозяйка сгребла её, фыркнула, повернулась и ушла к очагу.

Демиан взял кружку, отпил. Пиво было жидкое, мутное, чуть кисловатое — но холодное, и он прикрыл глаза, глядя на мутную пену у края. В такие минутки он почти забывал, что он здесь чужой. Сидел бы себе вот так, как все, — тёплый, сытый, с кружкой в кулаке, — кабы не проклятые уши под капюшоном.

А в двух шагах от него, за соседним столом, громко гуляла деревенская братия. Четверо мужиков — широкоплечие, обветренные, красные от пива, в холстинках да лаптях, — уже брали не первую. Перед ними на столе стоял жбан, валялись кости от чего-то жареного, и разговор у них шёл не то, чтобы вполголоса.

Демиан отхлебнул ещё глоток и невольно прислушался.

— ...да я ж тебе толкую, Гришаня, — разорился один, сухопарый, с жидкой бородёнкой, тыча в воздух обглоданной костью. — Ещё как слышали! Милодан наш, кузнецов брат, из города вернулся, третьего дня. Так он бает..., — тянул сухопарый с бородёнкой, — будто на границе-то опять нелюдя поймали. Эльфа. Древнего уже, седого. В лесу жил, корешками пробавлялся, никого не трогал. А приграничные его — цап! — и на кол.

— И правильно, — крякнул второй, широкий, как ворота, с багровой мордой. Звали его, видать, Гриша — к нему первый и обращался. — Чего их жалеть-то, нехристей. На кол — и весь сказ.

— Да я чё, я ничё, — заюлил бородёнка. — Я ж не жалею.

Я к тому, что ходют они ещё. Думали, вывели всех, а они ходют.

— Мало вывели, — встрял третий, помоложе, прыщавый, с жидким пушком на губе. — Батька сказывал, прапрадед его при самом де Клермоне ишшо воевал. Вот тогда их били так били. А щас чё? Распустились.

— Де Клермон, — с уважением протянул багровый Гриша и зачем-то перекрестился на закопчённый угол. — Октавиан. Вот это был человечище. Не нам чета.

Демиан отхлебнул пива и чуть опустил голову, пряча лицо глубже в тень капюшона. Эти рассказы он слышал тысячи раз — на каждом тракте, в каждой дыре, от каждого пьяного дурака. Но в них, как ни крути, была и правда. Кривая, пережёванная мужицкими ртами, но правда.

Когда-то, много сотен лет назад, миром правили не люди. Правили эльфы — высокие, прекрасные, живущие по несколько веков. Правили гномы со своими подгорными королевствами, где золота было больше, чем камня. Правили иные расы, которых теперь и по именам-то никто не помнил. А люди при них были — скот. Рабы. Пахали землю, таскали камень, умирали в рудниках и на потеху, плодились в хлевах и снова умирали. Нелюди смотрели на них сверху вниз — в прямом смысле, с высоты своего роста, — и считали людей чем-то вроде говорящей скотины, которую и жалеть-то грех, как грех жалеть свинью перед пиром.

Да только скотина оказалась живучей. Эльфы жили долго

— а детей рожали раз в пару десятков лет, по одному, и то не каждая пара. Гномы почаще, но тоже редко. А люди плодились как крысы: бабы рожали каждый год, по десятку выживало, из десятка вырастало пятеро, из пятерых — двое-трое брали в руки вилы. Один эльф стоил в бою десятерых людей — но на одного эльфа приходилась уже не десятка, а сотня. А потом и тысяча.

И вот тогда нашёлся человек. Октавиан де Клермон. Простого рода — не то кузнец, не то наёмник, врут по-всякому, — но с головой и с железом в хребте. Он объединил разрозненные бунты в одну войну, племена и города — в одно войско. Война шла долго, и крови было пролито столько, что, говорят, реки текли бурными три года кряду. Потери были чудовищные — с обеих сторон. Нелюди жгли людские рати целыми долинами своей магией, которой у людей не было и быть не могло.

Не могло — пока Октавиан не выкрал её. Как — про то легенды расходятся: кто говорит, обманом, кто — что эльфийку совратил и выпытал, кто — что просто вырезал целую башню чародеев и забрал их книги. Так или иначе, с тех пор и люди научились колдовать. Очень немногие, с трудом, кособоко — но научились. И чаша весов качнулась окончательно.

Октавиан победил. Нелюдей вырезали, выжгли, загнали в самые глухие чащи и под самые дальние горы. А сам Октавиан объединил под своей рукой половину известного мира

и короновался Императором. Потомки его правят и по сей день — половиной континента, не меньше, — и воюют без конца со всеми прочими королевствами, которых за эти века тоже понаросло немало. А нелюдей осталось — горстка. Так мало, что иной человек за всю жизнь ни одного живого эльфа не видел, только на картинках в церкви, где их малюют с рогами и клыками. Кто уцелел — тот прячется. Сидит по лесам, по норам, по углам. Как седой старик, которого цапнули на кол. Как сам Демиан.

— ...а я слышал, — продолжал прыщавый, понизив голос до того заговорщицкого шёпота, каким деревенские дураки делятся самым страшным, — что полукровки есть. Помесь. Человек, значит, с эльфийкой трахался. Или наоборот.

— Тьфу, — сплюнул Гриша. — Враки.

— Не враки! Отец Ансельм на проповеди сказывал! Говорит, полукровка — хуже чистого нелюдя. Тот хоть честный враг, а этот — промеж нами ходит, рожу прячет, и не поймёшь, кто рядом с тобой — человек ай нечисть. Отец Ансельм грит: такого найдёшь — жги сразу, не раздумывая. Потому как оно от греха родилось, от скотоложства, считай. Проклятое семя.

Демиан медленно поставил кружку на стол. Пиво вдруг сделалось кислым до горечи.

Он много раз это слышал. Каждое слово. И каждый раз внутри всё так же обрывалось и каменело — ровно, холодно, без лишнего. Он научился не дёргаться. Лицо под капюшо-

ном осталось каменным. Только пальцы чуть крепче обхватили глиняный бок кружки.

«Допей, — сказал он себе. — Допей и иди. Молча. Как всегда».

И в этот самый миг он почувствовал взгляд.

Не мужицкий — те на него и не смотрели, им хватало своих баек. Другой взгляд. Тяжёлый, цепкий, пристальный — с дальнего конца зала, от стойки. Там, прислонившись к бревенчатой стене, стоял человек, которого Демиан заметил ещё на входе, да не придавал значения. Жилистый, обветренный, годам к сорока. С луком за спиной — настоящим, добрым, не чета самоделу Демиана. Охотник. Или бывший солдат, подавшийся в лесовики. На поясе — длинный нож, на плече — связка беличьих шкурок. И глаза — цепкие, прищуренные, охотничьи, которые привыкли выцеливать дичь в кустах и подмечать то, что другие проглядят.

И смотрел этот охотник на Демиана. Точнее — на его капюшон. На то, что капюшон надет в тёплой, душной таверне, где все давно поскидывали шапки. На то, как сидит этот тихий гость — спиной в угол, лицом к двери, кружка нетронута наполовину.

Демиан не торопясь допил пиво — последний глоток, спокойно, не выдавая себя, — поставил кружку донцем вниз и потянулся за луком, прислонённым к стене. Пора. Тихо встать, тихо выйти, раствориться в улице, уйти в лес, где он дома и где ни один деревенский увалень его не сыщет.

Он поднялся. Закинул лук за плечо. Прошёл через зал — ровно, неспешно, глядя в пол, — к двери.

И у самой двери охотник шагнул ему наперерез.

— Погодь-ка, мил человек, — сказал он негромко, но так, что мужики за столом примолкли и повернулись. — Куды спешишь? Поговорить бы.

— Не о чем, — тихо ответил Демиан. — Дай пройти.

— А ты не груби. — Охотник не двигался, загораживая выход широкими плечами. Правая рука у него как бы невзначай легла на рукоять ножа. — Сиди себе человек, пьёт, лица не кажет. В тепле — а капюшона не скинул. Чудно, а? Я, вишь, зверя быю двадцать годков. У меня глаз на то, что не так лежит. А с тобой, мил человек, что-то крепко не так.

В таверне стало тихо. Хозяйка застыла с черпаком. Мужики за столом развернулись все четверо, посапывая, предвкушая потеху.

— Я устал с дороги, — ровно сказал Демиан. — Капюшон — моё дело. Дай пройти, и разойдёмся по-доброму.

— По-доброму, — ощерился охотник. И вдруг, быстрым движением, какого от сорокалетнего мужика не ждёшь, вскинул руку и сдёрнул с него капюшон.

Свет из очага упал Демиану на лицо. На чёрные волосы. На острые, заострённые к верхушке уши.

В таверне кто-то охнул. Кто-то выронил ложку.

— Мать честная, — выдохнул багровый Гриша, медленно поднимаясь из-за стола. — Нечисть. Самая что ни на есть

нечисть, братцы.

— Полукровка, — просипел прыщавый, бледнея. — Как отец Ансельм и бает. Промеж нами сидел. Пиво наше пил, сволочь ушастая...

Охотник смотрел на Демиана в упор, и в глазах его не было ни страха, ни злобы — одно холодное, безразличное удовлетворение, как у человека, который долго выслеживал зверя и наконец взял его на мушку.

— Так я и думал, — процедил он. — Помесь. Я таких раз видал, на войне, под Тремя Соснами. Вздёрнули тогда одного. А этот — гляди ж ты, живой ходит. Пиво лакает. — Он сплюнул Демиану под ноги. — И знаешь, что я тебе скажу, ублюдок? Мать твоя, что от эльфа ноги раздвинула, была последней шлюхой. Падаль, которую не на кол — в выгребную яму кидать надо было, вместе с приплодом. С тобой, значит.

Вот это было уже лишнее.

Про себя Демиан слышал всё. Выродок, нечисть, ублюдок, проклятое семя — всё это давно стекало с него, как вода с промасленной кожи. Он привык. Но про мать...

Матери он почти не помнил. Помнил только тепло да тихий голос, напевавший на языке, которого больше ни от кого он не слышал. Это всё, что у него было. Единственное чистое, что осталось. И вот этот жилистый сукин сын, этот охотник за белками, одним плевком вздумал в это чистое влезть сапогом.

Что-то внутри Демиана щёлкнуло — тихо, коротко, окон-

чательно. Как спускаемая тетива.

Он двигался быстро. Быстрее, чем мог ждать охотник, быстрее, чем видел глаз. Левой рукой он перехватил запястье с ножом и отвёл в сторону, а правая уже выдернула из ножен его собственный кинжал — тот самый, рабочий, которым он снимал шкуры и резал жилы, — и снизу вверх, коротко, без замаха, всадил его охотнику в шею. В мягкое, под подбородком, где бьётся жила.

Охотник дёрнулся. Глаза его распахнулись — удивлённо, глупо, по-детски. Он хотел что-то сказать, но изо рта хлынула кровь, тёмная, толчками, заливая связку беличьих шкурок на плече. Демиан выдернул кинжал — и кровь брызнула ещё сильнее, из раны, фонтаном, под стук собственного сердца Демиана.

Охотник осел на колени. Схватился обеими руками за горло, будто мог удержать жизнь, что хлестала между пальцев. Захрипел — булькающе, мокро, страшно. Повалился набок и забился на грязном полу таверны, суча ногами в луже собственной крови, разевая рот, как вытащенная на берег рыба. Это тянулось долго. Непристойно долго. Он хрипел, и дёргался, и цеплялся за половицы, и умирал тяжело, в муках, — а вся таверна смотрела на это, окаменев, не в силах шелохнуться.

А потом он затих.

И тишина взорвалась.

— УБИЛ! — заверещал прыщавый, шарахаясь к стене.

— Нечисть Касьяна убила! Люди добрые, нелюдь нашего убил!!!

— Держи его!!! — взревел багровый Гриша.

Демиан уже рванул дверь. Вылетел на улицу, в яркий полуденный свет, ослепивший после дымного полумрака, — и побежал.

Позади загрохотало, завывло, застучало. Таверна выблёвывала из себя людей — мужики с лавок, хозяйка с визгом, кто-то с ножом, кто-то с табуретом. Крик понёсся по деревне, как пожар по сухой соломе:

— Нечисть!! Лови!! Эльфий сучёныш Касьяна зарезал!!

— Собак спускай!! Собак!!

— К лесу бежит, к лесу, заходи слева, Петро!!

Демиан мчался по кривой деревенской улице, не разбирая дороги. Кто-то швырнул ему вслед камень — пролетел мимо виска. Баба с ведром шарахнулась в сторону, заверещала. Из дворов, гавкая, выметнулись псы. Впереди, у околицы, какой-то детина с вилами раскинул руки, думая перехватить, — Демиан, не сбавляя бега, пригнулся, ушёл под вилы вбок и наподдал детине локтем в зубы, так что тот кувыркнулся в пыль, роняя своё орудие.

За спиной топала, орала, улюлюкала весь Вереск. Триста плотов, и каждая жаждала его крови.

«Лес, — билось в голове в такт шагам. — Лес. Лес. Только до леса».

В лесу он был дома. В лесу их толпа, их собаки, их вилы

стоили вдвое меньше. В лесу он — тень.

Он долетел до опушки, нырнул в подлесок, и ветки захлестали по лицу. Он бежал не прямо — петлял, как заяц, уходил то вправо, то влево, продирался сквозь ежевику, перематывал через поваленные стволы, лез в самую чащу, где псам было не пройти, а людям — тем паче. Лёгкие горели. В боку кололо. Рубаха намокла — от крови охотника, от собственного пота, не разобрать. Он бежал, пока хватало сил, а потом — ещё, когда их уже не хватало.

Погоня отставала. Голоса за спиной делались глуше, реже, дальше. Собаки сбились со следа у ручья, через который он нарочно прошёл по воде шагов двести, по колено в студёной воде, чтобы сбить запах. Крики таяли. Деревенские — не охотники; стоило чаще показать им пятки, и злость их выдыхалась быстрее ног.

К закату Демиан остался один.

Он уже не бежал — брёл, шатаясь, цепляясь за стволы. Ноги не держали. Горло драло, во рту стоял железистый привкус. Плащ он где-то потерял, лук чудом удержал за плечом, но из колчана растерял половину стрел. Он сам не знал, сколько вёрст отмахал и куда вышел, — знал только, что лес вокруг чужой, незнакомый, густой, и солнце уже цеплялось за верхушки, заливая всё красным.

Сквозь шум в ушах он вдруг расслышал воду. Близко. Журчащую, живую.

Он продрался через последние кусты, вывалился на низ-

кий травянистый берег — и упал на колени у небольшой лесной речки. Тихой, мелкой, чистой, бегущей по камушкам. Он зачерпнул воды дрожащими ладонями, плеснул в лицо, хлебнул раз, другой — ледяную, ломающую зубы, — и только тогда, отдышавшись, поднял голову.

И замер.

На том берегу, шагах в десяти, на плоском валуне, сидел гном.

Приземистый, кряжистый, с плечами в сажень, с рыжей бородищей, заплетённой в две косы и заткнутой за пояс, чтоб не мокла. Штаны закатаны до колен, толстые волосатые ноги по щиколотку в воде. Рядом на камне — куча мокрого тряпья, которое он, видать, как раз полоскал: рубаха, портки да что-то ещё. В руках — отжатая наполовину рубаха, с которой капало.

Гном застыл, не донеся рубаху до камня. Уставился на Демиана — на его острые уши, на кровь, на загнанный вид, на дрожащие руки.

Демиан уставился на гнома.

Их взгляды встретились — и на мокром берегу маленькой лесной речки, под красным закатным небом, повисла долгая, звенящая тишина.

ГЛАВА 2. Под скалой

Тишина тянулась долго. Речка журчала, где-то в чаще куковала кукушка, с мокрой рубахи в руках гнома капало — кап, кап, кап — прямо в воду.

А потом гном сощурился, оглядел Демиана с головы до ног — окровавленного, загнанного, стоящего на карачках в речке, — сплюнул в сторону и сказал:

— Ну чё встал раком, ушастый? Или ты мне тут всю речку кровищей засрать решил? Я, мать твою за ногу, портки два часа полоскал, а ты мне выше по течению юшку пускаешь. Совесть есть, гад?

Демиан молчал. Он слишком устал, чтобы отвечать, — да и не знал, что отвечать.

Гном подождал, не дождался, фыркнул в бородищу и снова плюхнул рубаху в воду.

— Молчит. Ну молчи-молчи. Эльфье всегда так — морду скривит, будто ему в кашу насрали, и молчит, гордый. — Он отжал рубаху могучими кулаками, швырнул на камень и утёр лоб тыльной стороной ладони. — Хотя ты не чистый. Полукровка, что ль? По роже видать — наполовину наш брат-смертный, наполовину дерево говорящее. Чего за тобой пол уезда орало-то, а? Слышал я, как вас по лесу гнали. Думал, кабана подняли. А это тебя.

— Я... — хрипло выдавил Демиан. Горло драло, голос не слушался. — Я уйду. Сейчас уйду.

Он попытался встать — и повело. Ноги, которые несли его полдня без отдыха, наконец отказали; он качнулся, упёрся рукой в илистое дно, чтоб не рухнуть лицом в воду.

Гном смотрел на это с минуту. Потом крикнул, выругался себе под нос что-то длинное и затейливое — Демиан разобрал только «...и чтоб ему пусто было, доброму-то» — поднялся с валуна, собрал мокрое тряпье под мышку и, шлёпая босыми волосатыми ногами по воде, перешёл речку вброд.

— Так, — сказал он, остановившись над Демианом и упёршись свободным кулаком в бок. — Слушай сюда, ушастый. Сам ты шас не дойдёшь даже до того куста, не то, что до своего там эльфийского царствия небесного. Свалишься — волки сожрут, и поделом дураку. — Он поморщился, будто ему самому было противно от собственной доброты. — Айда ко мне. Накормлю, обсушу. А то потом бабе моей объясняй, что я тут нелюдя на берегу подыхать бросил. Она ж меня пилить будет до самой Чёрной горы.

— Зачем? — тихо спросил Демиан. Он не привык, чтобы ему помогали. Дважды в жизни такое было. Сегодня — третий раз.

— Чё «зачем»? — не понял гном.

— Зачем помогаешь. Я тебе никто.

Гном поглядел на него как на дурачка. Потом хмыкнул — уже без злобы.

— А затем, ушастый, что я, Бьёрри Камнекрут из рода Камнекрутов, тридцать годков под этой горой живу, и за все тридцать годков меня ни разу никто с кольями по лесу не гонял. А тебя вот гоняли. Знать, насолил ты кому надо, раз такой кипеж. — Он протянул широкую, как лопата, мозолистую ладонь. — А кому людишки войну объявляют всей деревней — тот мне, считай, уже не чужой. Вставай давай. И хорош сопли на кулак мотать, не девка.

Демиан посмотрел на протянутую ладонь.

И взял её.

Звали гнома, стало быть, Бьёрри. Бьёрри Камнекрут.

Был он Демиану едва по грудь — но вширь, пожалуй, стоял двоих таких, как Демиан. Плечи — будто вытесанные из того самого камня, в котором он жил; шея короткая, бычья, переходящая в голову почти без перехода. Руки длинные, тяжёлые, с кулаками-кувалдами, в бурых пятнах старых ожогов — кузнечных, как потом выяснилось. Ноги кривоватые, толстые, крепкие, как корни старого дуба. Весь он был какой-то приземистый, основательный, вросший в землю — казалось, толкни его телегой, и телега отскочит.

Лицо почти всё пряталось в бородище — рыжей, с проседью, густой, заплетённой в две толстые косы, в которые были вплетены мелкие потемневшие бусины и один медный колечко. Из зарослей торчал крупный нос, не раз, видать, ломанный, да блестели два хитрых глаза — маленьких, тёмных, глубоко посаженных, но живых и острых. Над глазами

— кустистые брови, которые жили будто своей жизнью: то сходились грозно, то лезли на лоб от удивления. Голова на макушке лысовата, зато по бокам волос хватало — тоже рыжих, тоже с сединой, собранных на затылке в хвост.

Пахло от Бьёрри камнем, дымом, потом и немного — кислой брагой.

О гномах Демиан знал немного, как и все, — больше по сказкам да по тому, что сам видел в редких придорожных разговорах. Народ подгорный. Жили когда-то в великих чертогах под горами, в залах, вырубленных так искусно, что людские соборы рядом с ними казались хлебом. Копали золото, серебро, самоцветы, медь и железо; ковали оружие, какому и по сей день нет равных, — эльфы-то воевали магией, а гномы брали сталью и упорством. Жили долго — не по четыре века, как эльфы, но лет по полтора-два, а то и больше, если болезнь или кирка в руднике не приберёт раньше.

Когда люди под рукой Октавиана поднялись, гномы сперва думали отсидеться под камнем — мол, наша гора, нас не достать. Да только людей было слишком много, а чертоги — слишком богаты, чтоб их не захотеть. Великие подгорные королевства пали одно за другим: где штурмом, где измором, где предательством. Золото растащили, залы обвалили, народ вырезали или разогнали. Теперь гномы жили кто как — кто подался в людские города ковать за гроши да терпеть плевки, кто ушёл в дальние горы, где людей отродясь не бы-

вало, а кто, как Бьёрри, забился в глушь, в лесную скалу, подалеже от чужих глаз, и жил себе тихо, сам по себе.

Нрав у них, говорили, был тяжёлый — упрямый, вздорный, обидчивый. Ругались гномы, как никто на свете, — виatieвато, с выдумкой, по всякому поводу и без. Любили выпить, любили поорать, любили поспорить до хрипоты о всякой ерунде. Но кто знал их поближе — тот говорил, что под всей этой руганью и ворчанием прячется народ на диво верный и добрый. Гном тебя обматерит на чём свет стоит, обзовёт дураком и бестолочью, а потом молча отдаст последний кусок хлеба. Такая уж порода.

Бьёрри, насколько Демиан успел разглядеть, был породе под стать.

Шли недолго. Гном ковылял впереди, не умолкая ни на шаг — то ругал корни, об которые спотыкался, то комаров, то Демиана, что плетётся «как беременная улитка», то опять корни. Вывел он к скале — невысокой, замшелой, поросшей по верху соснами, что торчали из камня, вцепившись корнями в трещины. В боку скалы, за кустами боярышника, пряталась дверь — низкая, но добротная, из толстых дубовых плах, окованная чёрным железом, с кованым же кольцом вместо ручки.

Бьёрри толкнул её плечом, пригнулся и шагнул внутрь.
— Заходи, не стой столбом. И башку пригни, а то расшибёшь свою эльфийскую макушку о честный гномий косяк.
Внутри было не так, как Демиан ждал. Не нора, не дыра

— дом. Настоящий дом, вырубленный прямо в толще камня: стены ровные, гладкие, обтёсанные со знанием дела, потолок сводчатый, низкий для человека, но для гнома — в самый раз. В дальней стене — очаг, сложенный из дикого камня, и в нём плясал огонь, и над огнём булькал закопчённый котёл, и пахло — боги! — пахло так, что у Демиана свело пустой живот и повело голову. Варёным мясом. Луком. Какими-то травами. Хлебом.

По стенам — полки с посудой, кованые крюки с инструментом, связки сушёных грибов и трав. Посреди — тяжёлый стол, вытесанный из цельной плахи, и вокруг — лавки. Под ногами — не земля, а каменный пол, выметенный, застланный у очага шкурами. Тепло, сухо, уютно — так уютно, что у Демиана защемило где-то под рёбрами, в том месте, где обычно жила тоска.

— Тордис! — рывкнул Бьёрри в глубь дома, бросая мокрое тряпье на лавку. — Тордис, зараза, я нам гостя приволок! Не ори только сразу, он смирный!

Из-за занавеси, отделявшей дальний угол, вышла гномиха.

Была она пониже мужа, но пошире в бёдрах, кругленькая, крепкая, с румяными щеками и такой же рыжей, как у Бьёрри, косой — только длинной, уложенной короной вокруг головы. Борода у неё тоже была — жидкая, короткая, аккуратная, скорее пушок, но была, и Демиан знал, что у гномов это в порядке вещей и даже предмет гордости. Увидев чужака,

она упёрла руки в бока, оглядела его острым, цепким взглядом — точь-в-точь как муж на берегу, — и первым делом накинута не на гостя, а на Бьёрри:

— Опять?! Опять ты кого-то притащил, старый ты дурень! В прошлый раз это был подранок-барсук, который мне всю кладовку разорил! А теперь что — эльф? ЭЛЬФ, Бьёрри?! Ты где эльфа-то выкопал, под корягой?!

— Полуэльф, — миролюбиво поправил Бьёрри, стягивая мокрые портки у очага. — Наполовину наш. И не ори, сказал же. Его люди гнали всей деревней, он едва ноги унёс. Не бросать же было.

Тордис поджала губы. Пробуравила Демиана взглядом ещё раз — уже внимательнее, помягче. Углядела и кровь, и дрожь, и то, как он, едва держась на ногах, пытается стоять ровно и не упасть.

— Тьфу на тебя, — сказала она, но уже без злости, скорее для порядка. — И на тебя тоже, ушастый, не смотри, что зыркаю. Садись давай, пока не свалился. Кровь-то чья — твоя?

— Чужая, — тихо ответил Демиан.

— Оно и лучше. — Она махнула рукой на лавку у стола. — Садись. Эгиль! Хильда! А ну сюда, оглоеды, мать вас кликает!

Из-за той же занавеси выкатились двое гномьих детей.

Мальчонка — лет на вид десять, хотя у гномов по годам не угадаешь, может, и все тридцать, — рыжий, конопатый, с уже пробивающейся на подбородке реденькой бородёнкой,

которой он явно страшно гордился. Девчонка — поменьше, с двумя тугими косичками, круглолицая, глазастая. Оба устались на Демиана так, будто в дом зашёл говорящий медведь.

— Батя, он эльф? — выдохнул мальчишка, Эгиль, тараща глаза. — Настоящий?! А он колдовать умеет?! А уши чего такие короткие, обломал, что ли?

— А почему он весь в кровище? — пискнула девчонка, Хильда, прячась за материн подол, но высовывая любопытный нос.

— Потому что лезет не в своё дело, как некоторые, — отрезала Тордис. — А ну цыц оба. Гость с дороги, устал. Садитесь жрать, и чтоб тихо мне.

Ели за тяжёлым каменным столом, все вместе.

Тордис сняла с огня котёл и навалила Демиану полную миску — густое варево с мясом, репой, луком и ячменём, наваристое, жирное, горячее. Пихнула рядом краюху тёмного хлеба и кружку чего-то мутного и пенного — гномьего пива, крепкого, горького, от которого после первого же глотка по телу разлилось тепло. Демиан хотел есть прилично, не спеша, как учила его когда-то давно одна женщина под дождём — *понемногу, а то станет дурно*. Но не смог. Руки тряслись, живот сводило, и он навалился на еду, почти не жуя, обжигаясь, запихивая в себя ложку за ложкой.

Гномы смотрели на это молча. Даже дети примолкли. А потом Бьёрри крикнул, подвинул ему хлеба поближе и бурк-

нул:

— Ешь-ешь. Не на базаре, никто не отымет. Тордис, плесни ему ещё. Отощал, как глист в жопе

Когда первая миска опустела, а за ней и половина второй, Демиан наконец перевёл дух. Тепло очага, тепло пива, тепло в животе — всё это разморило его, развязало язык, и впервые за долгое, долгое время он почувствовал что-то вроде покоя.

— Ну, — сказал Бьёрри, отваливаясь к стене и отхлёбывая из своей кружки. — Рассказывай, ушастый. Кто таков, откуда, за что тебя мужичье-то гнало. Не каждый день к моей речке приходят эльфы в чужой кровище. Любопытно же, мать его.

И Демиан рассказал. Немного. Ровно столько, сколько мог.

Рассказал, что родом из столицы — из самой большой, из имперской. Что матери лишился мальцом, а отца и не знал вовсе. Что рос на портовых улицах, среди пьяни, воров и грязи, жил подаванием да воровством, голодал так, что готов был землю грызть. Рассказал — коротко, глядя в огонь, — про ту ночь, десять лет назад: про дождь, про канал, про то, как стоял на заборе и готов был шагнуть вниз. Про всадников. Про девушку под капюшоном, которая остановила солдата одним словом, присела перед ним в грязь и сунула в руки хлеб и сыр. Про то, как она сказала: *живи, что бы они ни говорили — живи.*

— После той ночи я и ушёл, — сказал он тихо. — Не сразу. Через год, может. Понял, что в городе мне конец — рано ли, поздно, а забьют. Прибился к обозу, доехал до заставы, а там сбежал. С тех пор так и хожу. По лесам больше. Научился стрелять, силки ставить, шкуры снимать, тропы читать. Где подработаю — там и сыт. Где не подработаю — там охочусь. Где и охоты нет — там голодаю. Как придётся.

— А ту бабу, — вдруг спросила с другого конца стола Тордис, подперев щёку рукой, — ну, которая с хлебом, — так и не сыскал?

Демиан покачал головой.

— Нет. Не знаю даже, кто она. Ни имени, ни лица толком. Только голос помню. — Он помолчал. — Иногда снится. Почитай каждую неделю.

За столом стало тихо. Даже огонь в очаге потрескивал будто тише.

А потом Бьёрри громко шмыгнул своим перебитым носом, крякнул и объявил на весь дом:

— Ну, знаешь, ушастый, бабу, которая мужику хлеба дала просто так, за красивые глаза, — такую и помнить не грех. Моя вон, — он мотнул головой на Тордис, — за хлеб с меня три года кузню строить заставляла, покуда замуж пошла. Корыстная баба. Жадная. Зато жопа — во! — Он развёл кулачищи. — За такую жопу я б ещё три кузни построил.

— БЬЁРРИ! — взвизгнула Тордис, краснея до корней волос, и запустила в мужа деревянной ложкой. Ложка звонко

отскочила от его лба. — При детях! При госте! Ах ты старый ты похабник!

— А чё я? Чё сразу я? — заржал гном, уворачиваясь от второй ложки. — Я ж любя! Эгиль, запоминай, сын: вот это вот всё — и есть семейное счастье! Когда в тебя ложками кидают, а ты живой!

Хильда прыснула в кулачок. Эгиль загоготал. Тордис, пряча улыбку, обозвала мужа «бородатым пнём» и «позорищем рода», но уже беззлобно. И Демиан — сам не заметил как — тоже улыбнулся. А потом и засмеялся. Тихо, непривычно, будто мышцы лица отвыкли от такого, — но засмеялся.

И вся жуть сегодняшнего дня — таверна, кровь, хрипящий Касьян, вой погони за спиной — всё это вдруг отодвинулось куда-то далеко-далеко, за толстые каменные стены, в которые не пролезть ни мужику с вилами, ни отцу Ансельму с его проповедями, ни целому миру, который так дружно хотел Демиана извести.

Вечер прошёл за разговорами. Бьёрри рассказывал байки — про своего деда, что видал последнее подгорное королевство ещё в силе, про то, как сам он тридцать лет назад ушёл из людского города, где ковал мечи для господ, а получал плевки да гроши, про речку, про лес, про то, как учил Эгиля держать молот. Тордис подкладывала Демиану еды — всё приговаривая «ешь, ешь, одни кости» — и штопала у очага ту самую рубаху, что полоскал на речке муж. Дети клевали носами, пока мать не загнала их за занавесь спать, откуда ещё

долго слышалось шушуканье и приглушённый смех.

А когда за единственным окошком-бойницей совсем стемнело и в доме остались только отсветы догорающего очага, Бьёрри потянулся, хрустнул спиной и сказал:

— Ну чё, ушастый. На ночь глядя тебя в лес гнать — последнее дело. Волки, да и твои мужички, глядишь, не угомонились. Оставайся. Вон у очага шкуры, ложись, не бойся — камень тёплый, не продует. А утром видно будет.

Демиан хотел отказаться. По привычке. Он не оставался нигде и ни у кого — так было безопаснее, так было правильнее, так он прожил десять лет и остался цел. Но тело уже отказывалось слушаться, глаза слипались, тепло очага тянуло вниз, в сон, и слова благодарности вышли сами собой, тихие и неловкие:

— Спасибо. Вам всем. Я... отплачу. Чем смогу.

— Да иди ты со своим «отплачу», — отмахнулся Бьёрри, гася лучину. — Отплатит он. Спи давай, должник выискался.

Демиан улёгся на шкуры у очага. Под спиной был тёплый камень, в животе — сытость, какой он не помнил уже месяцами, а рядом, за занавесью, тихо дышала во сне чужая семья, которой до него, по всем законам этого мира, не должно было быть никакого дела.

Он лежал, глядя на угли, что медленно гасли в очаге, подёргиваясь серым пеплом, — рыжие, как днём был рыжим свет из той таверны, как десять лет назад был рыжим свет из

того трактира. И перед тем как провалиться в сон, он прокрутил в голове весь этот безумный день заново. Сон про дождь и про неё, с которого всё началось утром. Пиво в таверне. Сдёрнутый капюшон. Плевок охотника. «Мать твою была последней шлюхой». Кинжал, входящий в мягкое под подбородком. Кровь. Хрип. Погоня, крики, камни, лес, речка. И гном на валуне: *ну чё встал раком, ушастый?*

Столько всего за один день. Смерть — и доброта. Кровь — и тёплая миска варева. Люди, что гнали его с кольями, — и нелюди, что пустили под свой кров и накормили последним.

«Какой же странный мир», — подумал Демиан.

А потом угли подёрнулись пеплом, тепло укрыло его с головой, и он уснул — без снов, впервые за долгое, долгое время.

Проснулся Демиан поздно — солнце уже било в бойницу-окошко жидким золотым лучом, в котором плясала пыль. Очаг прогорел дотла, но камень под спиной ещё хранил тепло. Пахло свежим хлебом и травяным отваром.

Он сел, провёл ладонью по лицу. Спал без снов — впервые за долгое время. Ни дождя, ни канала, ни хрипящего под ножом охотника. Просто темнота, тёплая и глухая, как под толщей воды.

За столом уже возился Бьёрри — чинил какую-то упряжь, щурясь на свет. Тордис хлопотала у очага, дети, видать, убежали во двор — со двора доносился их визг и собачий лай.

— О, встал, покойничек, — хмыкнул гном, не поднимая

глаз от работы. — А я уж думал, помер ты у меня тут. Два раза подходил, слушал — дышишь или нет. Дышишь. Ну и слава камню.

— Долго я спал?

— Да полдня проспал, соня. Ну ничё, тебе надо было.

— Бьёрри отложил упряжь. — Жри давай. Тордис тебе там оставила.

Демиан поел — каша, хлеб, молоко. А потом поднялся, собрал свой нехитрый скарб — лук, колчан с остатком стрел, ремень, кинжал, отмытый вчера от крови, — и подошёл к столу.

— Спасибо вам. За всё. Я пойду.

Бьёрри прищурился.

— Пойдёшь, значит.

— Пойду. Нечего мне у вас на шее сидеть.

— Угу. Угу. — Гном задумчиво почесал бородищу. А потом хитро глянул из-под кустистых бровей. — А как же «отплачу чем смогу», а? Вчера за столом кто языком молол? Или это пиво моё говорило?

Демиан остановился.

— Говорил.

— Ну вот и славно, — расплылся Бьёрри и хлопнул кулаком по столу. — Потому как ты мне, ушастый, как раз кстати. Дело есть. Телега у меня. Руда в ней — железная, добрая, сам копал, сам дробил. Везть надо в город, на продажу. Дорога — полдня туда. А одному мне несподручно: телега

тяжёлая, дорога через лес, а по лесу, сам знаешь, кто ходит. Вдвоём-то оно вернее. Подсобишь — и мы в расчёте. Идёт?

Демиан нахмурился.

— В город?

— В город.

— Бьёрри, я вчера человека зарезал. За мной полдеревни гналось. — Он провёл рукой по волосам, по острой верхушке уха. — Капюшон я потерял. В городе у меня уши — вот они. Любой увидит. Снова всё по кругу: крик, вилы, собак спуссят. Не могу я в город.

Гном поглядел на него — долго, спокойно. Потом отмахнулся.

— Да брось. Городишко этот — Остров зовётся, хотя никакой он не остров, прозвали так дурни в старину, уж не помню за что. Махонький. И меня там каждая собака знает. Тридцать годков руду вожу. Да, косятся. Да, не любят. Эльфа, может, и вправду на вилы подняли, а гнома с рудой — не тронут. Руда всем нужна, а гномья руда — вдвойне. Кузнецы по мне плачут, когда я не приезжаю. — Он ухмыльнулся. — А мэр ихний мне вообще друг. Настоящий, не для красного словца. При нём тебя пальцем никто не тронет, слово даю. Поедешь под моей рукой — поедешь как мой человек. А кто спросит — скажем, помощник. Ну?

Демиан колебался. Нутро кричало: уходи, не лезь, город — это смерть. Но был долг. И было что-то ещё — усталость от вечного бегства, от вечного «один».

— Ладно, — сказал он наконец. — Полдня. Отвезём руду — и я ухожу.

— Вот это по-нашему! — Бьёрри хлопнул его по спине так, что Демиан чуть не клюнул носом в стол. — Тордис, я с ушастым в Остров! К ночи буду! Детей не балуй!

— Балуй он мне тут указывает, — проворчала Тордис, но сунула им в дорогу узелок с хлебом и сыром. — Езжайте уж. И не пей там, старый, знаю я тебя!

— Да я ж по чуть-чуть...

— ЗНАЮ Я ТВОЁ «ПО ЧУТЬ-ЧУТЬ»!

Телега и впрямь была тяжёлая — доверху гружёная тёмной, в рыжих прожилках рудой. В неё была впряжена кудлатая низкорослая лошадка, флегматичная, как сам камень. Бьёрри сел на облучок, Демиан — рядом, и они покатали по лесной дороге, разбитой и ухабистой, под скрип колёс и чавканье копыт в подсохшей грязи.

Солнце грело, но не жгло. Лес стоял по бокам зелёной стеной, пахло хвоей и тёплой пылью. Ехали неспешно. И, как водится в дороге, разговорились.

Говорили обо всём. О лесе, о зверье, о том, как ставить силки на зайца и почему гномья сталь лучшая в мире. Бьёрри травил байки, Демиан больше слушал. А потом спросил о том, что давно не давало покоя:

— Бьёрри. Я в лесах уже который год. Новостей не слышу, газет не читаю — да я и грамоте-то едва обучен. Что в мире творится? Что в Империи?

Гном пожевал губами, поглядел на дорогу.

— В мире, ушастый, творится, как всегда, — хрень всякая. Войны на юге, войны на востоке, Империя всё воюет да воюет, ей всё мало. Налоги дерут. Урожай нынче так себе. Ничего нового под солнцем. — Он помолчал, потом оживился. — А вот из столицы слухок пошёл занятный. Из самого Клермона. Говорят, Император-то наш старый совсем стал. Хворает. Поговаривают, скоро власть сыну передаст — наследнику.

— И что наследник?

— А вот тут самое смешное. — Бьёрри хмыкнул в бороду. — Наследник, слышь, молодой, с придурью. Говорят, он за то, чтоб с нелюдьми помягче. Мол, хватит уже резать да жечь, все мы под одним небом ходим, и эльф, и гном, и человек. Болтают даже — не знаю, враки ли, — будто он совет свой хочет собрать, и в совет этот взять по одному от каждой расы. Эльфа. Гнома. Ну и прочих, кто уцелел. Чтоб, значит, все голос имели.

Демиан повернулся к нему.

— Это правда?

— А камень его знает. — Гном пожал могучими плечами. — Может, правда, может, брехня трактирная. Только знаешь, что я тебе скажу, ушастый? — Он понизил голос, будто кто мог подслушать в пустом лесу. — Если оно и правда — то недолго твой наследник процарствует. Это ж он против своих поплёр. Вся Империя на том стоит, что люди — наверху,

а нелюди — под сапогом. Много веков так. И тут приходит мальчишка и говорит: а давайте эльфа в совет посадим. — Бьёрри провёл ребром ладони по горлу и прицокнул. — Чик — и голова его покатится. Свои же и порешат. Бароны, попы, генералы. Они скорее нового Императора найдут, чем эльфа рядом с тронем стерпят. Так что тронулся парень умом, не иначе. Жаль. Хороший, видать, дурак. Но такие долго не живут.

Демиан молчал, глядя на дорогу. Где-то глубоко, под рёбрами, шевельнулось что-то — не надежда даже, а тень надежды, которую он тут же задавил. Слышал он уже такое. Обещания. Мир жесток, и те, кто обещает его смягчить, умирают первыми.

Но запомнил. На всякий случай — запомнил.

К полудню лес расступился, и впереди, в долине у излучины мелкой реки, показался город.

Остров был невелик — не столица, куда там, — но после лесной глуши и то диво. Обнесён невысоким частоколом с подгнившими кое-где брёвнами; за частоколом — тесная россыпь крыш, черепичных у домов побогаче, соломенных и дранковых — у тех, что победнее. Над всем торчал каменный шпиль церкви с покосившимся флюгером да приземистая башенка ратуши. Улочки узкие, кривые, замощённые, где булыжником, где — ничем. Пахло дымом, навозом, рыбой с реки, свежим хлебом из пекарен и помоями из канав. Жизнь кипела: торговки орали над лотками, кузни звенели,

бегали чумазные ребятишки, у коновязей переминались лошади, где-то визжала свинья, которую волокли на убой.

У ворот скучали двое стражников — в потёртых кольчугах, с копьями, один жевал соломинку, другой дремал стоя. Увидев телегу, первый лениво поднял голову.

— О, Камнекрут. Опять руду приволок, борода?

— А то, — отозвался Бьёрри весело. — Кто ж вам ещё железа навезёт, кроме меня, лодырей.

Стражник хохотнул, махнул — проезжай. А потом взгляд его упал на Демиана. На уши. Соломинка замерла у него во рту. Лицо вытянулось, рука дёрнулась было к копыю.

— Это... а это кто с тобой? Это ж...

— Помощник мой, — быстро и твёрдо сказал Бьёрри, не давая тому опомниться. — Со мной он. Под мою руку. Чего zenки пучишь, Хрол? Не видал полукровки? Руду мне грузить кто будет, ты, что ль, со своим пузом? Пропусти, не задерживай, у меня товар стынет.

Стражник помялся, пожевал соломинку, оглянулся на дремлющего напарника. Связываться с Камнекрутом, которого знали полгорода и которого ждали все кузнецы, ему не хотелось. А полукровка сидел смирно, глаз не поднимал, и был явно при гноме.

— Ну... под твою руку так под твою, — буркнул он наконец, отступая. — Только чтоб тихо. Ежели он чего отчудит — на тебе ответ, борода.

— На мне, на мне. Поехали, ушастый.

И они въехали.

Горожане косились. Кто-то замирал, кто-то шептался, кто-то сплёвывал и крестился, завидев острые уши. Одна баба схватила дитё за руку и утащила с дороги, будто от чумного. Но — и Бьёрри был прав — никто не кинулся, не заорал, не схватился за дрекольё. Гнома знали. Гном был свой, привычный, при деле. А раз полукровка при гноме — значит, гномья забота, не наша. Так рассудил город, и Демиан, сжавшись на облучке и глядя в одну точку, был этому несказанно рад.

Руду Бьёрри продал быстро и ловко — у рудного двора, где его встретили как родного, поторговались для порядка, похлопали по плечам. Гном ссыпал в кошель звонкое серебро, прикинул на ладони вес и остался доволен.

— Хорошо вышло, — сказал он, пряча кошель за пазуху. — Ну что, ушастый, дело сделано, ты свой долг отдал. А теперь — пойдём-ка, познакомлю тебя кое с кем. С другом моим.

Ратуша оказалась тем самым приземистым каменным домиком с башенкой. Внутри было прохладно, пахло воском, старой бумагой и кофе.

Мэра звали Гисмунд Телль. Был он человек немолодой — лет шестидесяти, — сухощавый, прямой, с умным усталым лицом, чисто выбритый, в добротном, но не кричащем платье тёмного сукна. Седые волосы зачёсаны назад, у рта — глубокие морщины, у глаз — сетка тонких лучиков. Но глав-

ное, что сразу заметил Демиан, — левой руки у мэра не было. Пустой рукав был аккуратно подвёрнут и приколот к плечу.

— Бьёрри! — Мэр поднялся из-за стола, и лицо его потеплело. — Старый ты разбойник. Давно не казал бороды. Садись, садись. А это кто с тобой?

Взгляд Гисмунда скользнул по Демиану. По ушам. На миг — лишь на миг — брови мэра дрогнули. Но тут же лицо его разгладилось, и он не выказал ни страха, ни злобы, ни даже удивления — ничего из того, к чему Демиан привык.

— Спутник мой, — сказал Бьёрри. — Демианом звать. Хороший малый, не смотри, что ушастый.

— Полукровка, — спокойно отметил мэр, будто говорил о погоде. — Эльфийской крови. Редкость в наших краях. Что ж вы стоите у порога? Садитесь. Кофе будете? У меня хороший, с юга привозят, разорение одно, но я себе позволяю. Один из немногих стариковских грехов.

Демиан колебался. Всё в нём было настороже — слишком гладко, слишком вежливо, так не бывает. Но Бьёрри уже плюхнулся на стул, и Демиан, помедлив, сел тоже. На край. Поближе к двери.

Мэр одной рукой ловко — видно, давно приноровился — разлил по чашкам тёмный дымящийся напиток. Демиан пил такое впервые: горько, терпко, незнакомо, но тепло растекалось по телу приятно.

— Ты, парень, не зыркай на меня, как волчонок, — вдруг

сказал Гисмунд, усмехнувшись в чашку. — Я тебе зла не желаю. Знаю, непривычно тебе — человек, и вдруг не плюёт в спину. Хочешь знать почему?

Демиан промолчал. Но в глазах был вопрос.

Мэр откинулся на спинку кресла и кивнул на пустой рюкзак.

— Руку эту я потерял под Вербеной. Молодой был, служил в имперском войске, как и все тогда. Была стычка — не то с мятежниками, не то ещё с кем, нам не объясняли, нам приказывали. Меня зацепило — секирой, по плечу. Кровь хлещет, рука висит на лоскуте, я валяюсь в грязи и помираю. А товарищи мои — кто разбежался, кто сам полёг. И вот лежу я, и подходит ко мне человек. Беру его за своего — ан нет. Эльф. Самый настоящий, высокий, светловолосый, из тех, кого мы тогда и шли вырезать. — Гисмунд отпил кофе. — Я думал, он меня добьёт. А он присел рядом, посмотрел — и руку мне перетянул. Жгут наложил, остановил кровь. Чем-то рану присыпал, травой какой-то, боль унялась. Руку он спасти не смог — отняли потом лекари, — но жизнь спас. А после встал и ушёл. Молча. Я даже имени не спросил, дурак, лежал да глазами хлопал. Враг. Которого я шёл убивать. Спас мне жизнь — и ушёл.

В комнате стало тихо. За окном шумел город.

— С тех пор, — тихо сказал мэр, — я не верю попам, когда они с амвона кричат, что нелюдь — это зверь без души. Я своей душой знаю, что это враньё. Зверь бы меня добил.

А он — нет. — Гисмунд посмотрел на Демиана прямо. — Вот почему я не плюю тебе в спину, парень. Один из ваших когда-то не плюнул в мою.

Демиан сидел, не находя слов. Второй раз за два дня мир переворачивался с ног на голову. Нелюди, что приютили. Человек, что не ненавидит. Всё, что он знал о людях, трещало по швам.

Разговор пошёл дальше — уже легче. Гисмунд, оказалось, много читал и много знал, и об эльфах тоже — собирал о них сведения всю жизнь, по крупицам.

— Народ ваш, эльфийский, — говорил он, — был великим народом. Не только воины да чародеи — хотя и это. Музыка, стихи, зодчество, звездочётство — всё у них было тоньше, выше, глубже нашего. Они жили веками и не спешили. Мы, люди, живём быстро, хватаем жадно — а они растили одно дерево сто лет и любовались. Другой у них был лад. — Он вздохнул. — И магия. Вот что главное. Эльфы с магией рождались. Не все, но многие. Для них колдовать было что для нас дышать. А мы, люди, этот дар украли — так в легендах, — украли, да толком не переварили. У людей он редок, слаб и даётся с кровью и мукой. Одарённый человек — один на десятки тысяч, и учатся они годами тому, что эльфу даётся само.

— А полукровки? — вдруг спросил Демиан. Сам не знал, зачем спросил.

Мэр поглядел на него внимательно.

— А вот про полукровок никто толком не знает. Их мало, живут тайно. Одни говорят — дар к ним не переходит вовсе, кровь, мол, разбавлена. Другие — что переходит, да как попало: в ком густо, в ком пусто. — Он помолчал, что-то обдумывая. А потом вдруг оживился. — Слушай-ка. А давай проверим?

— Проверим что? — насторожился Демиан.

Гисмунд поднялся, подошёл к шкафу и достал из запертого ящичка небольшой предмет. Положил на стол перед Демианом.

Это был камень. Небольшой, с голубиное яйцо, гранёный, полупрозрачный, глубокого фиолетового цвета — будто застывшая капля сумерек. Свет из окна проходил сквозь него и ложился на столешницу лиловым пятном.

— Аметрин, — сказал мэр. — Так его зовут знающие люди. Редкий камень, дорогой — я за него отдал когда-то всё жалованье за полгода. Он, видишь ли, чует магию. Пьёт её, как губка воду. Дашь его в руки одарённому — он светится. Дашь пустышке вроде меня — лежит камень камнем. Безобидная штука, не бойся. Хочешь попробовать? Узнаешь наконец, что у тебя в крови.

Демиан смотрел на камень с опаской. Внутри что-то сжалось. Он не хотел знать. Всю жизнь он был «ни там, ни здесь», и ковырять эту рану лишний раз не тянуло. Но Бьёри рядом азартно подался вперёд:

— Да бери, ушастый, чего ты! Любопытно же! Я сам пер-

вый раз такое вижу!

— Ну... ладно, — выдавил Демиан. — Что делать?

— Просто возьми в руку. И всё.

Демиан протянул руку. Помедлил. И взял камень.

Секунду ничего не происходило.

А потом аметрин вспыхнул.

Не слабым огоньком — нет. Он загорелся изнутри глубоким фиолетовым светом, ярким, пульсирующим, живым, будто в ладони Демиана забилося маленькое лиловое сердце. Свет разлился по комнате, заплясал на стенах, на лицах. Камень стал тёплым, почти горячим, и Демиан почувствовал, как от него к руке, к груди протянулось что-то — тонкое, звенящее, похожее на натянутую струну.

Бьёрри выронил чашку. Она разбилась об пол — никто не обратил внимания.

Гисмунд медленно встал. Лицо его побелело.

— Создатель милосердный, — прошептал он. — Я... я видел, как он тлеет у сильных людских чародеев. Чуть-чуть. Еле-еле. Но так... так я его не видел никогда.

Демиан сидел, оцепенев, глядя на пылающий в ладони камень. Сердце колотилось. Струна внутри гудела.

— Положи, — тихо сказал мэр. — Положи, парень, осторожно.

Демиан разжал пальцы. Камень лёг на стол — и свет его стал медленно гаснуть, угасать, пока аметрин снова не сделался тускло-фиолетовым, обычным. Но у всех перед глазами

ми ещё стояло это сияние.

Долго молчали.

— Ну, — выдохнул наконец Бьёрри, подбирая с пола черепки. — Вот тебе и «дар в полукровках не переходит». Это ж он у тебя не переходит, это ж он у тебя через край хлещет, ушастый!

Гисмунд опустился обратно в кресло, глядя на Демиана новыми глазами.

— Парень, — сказал он серьёзно. — Слушай меня внимательно. То, что у тебя в крови, — это не просто дар. Это редчайший дар. Я прожил шестьдесят лет, повидал имперских боевых магов, что города жгли, — и ни у одного этот камень так не горел. Ни у одного. — Он подался вперёд. — Но дар без науки — это топор в руках младенца. Либо себя порежешь, либо других. Тебе нужен учитель. Настоящий, знающий. Найди его — где угодно, чего угодно это будет стоить. Потому что с таким даром ты либо станешь кем-то великим... либо он тебя сожжёт изнутри. Так бывает с нераскрытой силой. Запомни мои слова.

Демиан кивнул, едва слыша. В голове звенело. Всю жизнь он был никем — выродком, ошибкой, ни тем, ни этим. А оказалось, в нём всё это время дремало что-то, чего нет и у сильнейших людских чародеев. Он не знал, радоваться этому или бояться.

Скорее — бояться.

Из ратуши вышли под вечер. Солнце клонилось к часто-

колу, тени вытянулись, город понемногу затихал.

— Пойдём-ка, — сказал Бьёрри, задумчиво теребя бороду. — В одно место заскочим.

Он привёл Демиана к кузнице на краю города — закопчённой, жаркой, звенящей. Кузнец, здоровенный чумазный детина, увидев гнома, расплылся:

— Камнекрут! Ах ты ж старый чёрт!

Они обнялись, перекинулись парой слов. Бьёрри о чём-то сторговался, отсчитал несколько монет из вырученного за руду серебра. И вернулся к Демиану с охапкой вещей: добротная кожаная куртка — крепкая, на меху по вороту, — и пара хороших ботинок, высоких, на толстой подошве.

— Держи, — сунул он их Демиану.

— Бьёрри, ты что...

— Бери, сказал.

А потом гном полез в свою сумку и достал оттуда ещё одно. Капюшон. Тёмный, плотный, тёплый, аккуратно сшитый, с подкладкой — новенький.

Демиан замер.

— Нет, — сказал он, отступая. — Бьёрри, нет. Это слишком. Ты и так меня накормил, приютил, в город провёз, от стражи отбрехал. Я не могу... я тебе и за это-то не оплатил толком. Не возьму.

— Ушастый, — вздохнул Бьёрри устало, как говорят с упрямым ребёнком. — Ты слушай сюда. Скоро осень. За осень — зима. А зима в наших краях — это тебе не шутки, это

такая сволочь, что без тёплой куртки ты в своём лесу за одну ночь дуба дашь, и найдут тебя по весне синего да окоченелого, волки обглодают, и будет лежать твой ушастый череп под кустом, и никто даже не узнает, что был такой Демиан. А мне оно надо? Я тебя, дурака, из речки вытащил не для того, чтоб ты через месяц замёрз, как сосулька на заборе. Так что бери куртку и не позорь меня своей гордостью, она тебя не согреет.

Демиан молча взял куртку и ботинки. Горло сжалось.

— А капюшон, — добавил Бьёрри уже тише, пряча глаза в бороду, — капюшон тебе Тордис сшила. Утром. Пока ты дрых. Встала затемно, говорит — парень без капюшона, уши прятать нечем, его ж убьют. И сшила. Так что это не от меня даже. Это от неё. Обидишь — откажешься — я ей расскажу, и будет мне дома такой скандал, что проще б тебя в речке и оставить. Бери, не доводи до греха.

Демиан взял капюшон. Пальцы дрожали. Он держал в руках вещь, которую чужая женщина сшила на рассвете для чужого выродка, которого видела один вечер, — просто чтобы его не убили.

— Я... — голос не слушался. — Спасибо. Бьёрри. Тордис. Я не знаю, как... спасибо.

— Да ладно, ладно, — смутился гном, пряча растроганность за ворчанием. — Развёл сырость. Надень лучше, примерь, чтоб сидело.

Демиан накинул капюшон. Сидел как влитой — уши

скрылись, тепло легло на плечи. Натянул куртку. Впервые за годы ему было не холодно и не страшно.

Они отошли к коновязи, где ждала телега. Солнце почти село. Бьёрри прислонился к колесу, глядя на темнеющее небо, и заговорил — уже не шутя, серьёзно:

— Слушай, ушастый. Дам тебе один совет. На прощание. А там — сам решай, не маленький. — Он помолчал. — Зачем тебе всю жизнь по лесам шараться? От каждого встречного прятаться, капюшон на уши, руку на нож? Так и сдохнешь бирюком под кустом. А ты вон какой — молодой, и дар в тебе вон какой горит оказывается. Грех так жизнь тратить.

— А куда мне? — тихо спросил Демиан. — Везде одно и то же.

— Не везде. — Бьёрри понизил голос. — Иди на север. Далеко-далеко, за горы, где кончаются имперские земли. Там, рассказывают — сам не был, врать не буду, но в тавернах слыхал от бывалых людей, — там другие края. Фьорды, студёное море, снега. Народ там живёт суровый, но прямой. Их боги — это не ваш кроткий Создатель с попами, а воины: Отец Павших, что висел на дереве девять ночей ради мудрости, Громовержец с молотом, Хитрец-обманщик. — Гном усмехнулся. — И вот что главное, ушастый. Там не судят по роже. Там ценят не кровь, а дело. Силён ли ты, храбр ли, держишь ли слово, крепка ли рука — вот что там спрашивают. А эльф ты, человек, гном или полукровка — да хоть тролль,

лишь бы в бою не подвёл да за столом не крысятничал. Там твои уши никому не нужны. Там на них плевать.

Демиан слушал, затаив дыхание. Место, где на его уши плевать. Где не спрашивают, чей ты выродок.

— Только, — Бьёрри поднял корявый палец, — путь туда — не прогулка. Пешком — месяцев пять-шесть, если в столицу собираешься, не меньше. И всё через горы. А горы те — недобрые. Люди говорят, живут там великаны — здоровенные, с дом ростом, глупые, но злые, камнями кидаются да скот крадут, а то и путника сожрут, коли поймают. И ещё — драугры. Это, ушастый, дело совсем поганое. Мертвяки. Не упокоенные покойники, что в курганах лежат да по ночам встают — холодные, синие, сильные, как десять живых, и злобы в них на весь свет. Стерегут своё золото в могильниках и всякого, кто сунется, рвут на куски. Их и железо-то простое не всегда берёт. — Гном покачал головой. — Так что путь опасный. Я б тебе советовал идти — но решать тебе, не мне. Я своё сказал.

Он выпрямился, хлопнул Демиана по плечу.

— Ну, бывай, ушастый. Спасибо, что пособил со старым — одному б я сдох на той дороге от скуки, честно. — Он усмехнулся в бороду, но глаза были тёплые. — Свидимся ещё, может. Земля, она круглая, говорят. А гномы долго живут. Глядишь, встретимся — ты уже великий чародей будешь, а я всё руду вожу, старый дурак. Расскажешь тогда, как север, добрался ли.

— Обязательно расскажу, — тихо сказал Демиан. — Спасибо тебе, Бьёрри. За всё. Передай Тордис... и детям... спасибо. Я не забуду вас. Никогда.

— Да иди уж, сырость развёл, — буркнул гном, забираясь на облучок. Шмыгнул носом. Дёрнул вожжи. — Но! Пошла, кудлатая!

Телега заскрипела и покатила к воротам — в сторону леса, домой. Бьёрри не оборачивался. Только раз поднял над головой широкую ладонь — не махнул, просто поднял, — и держал так, пока телега не скрылась за поворотом.

Демиан остался один на пустеющей городской улице.

Он отошёл к частоколу, опустился на старое бревно и долго сидел молча, глядя, как над крышами гаснет закат и зажигаются первые звёзды.

Столько всего за два дня. Вчера он был никем — загнанным выродком, что убил человека и бежал через лес, готовый сдохнуть у речки. А сегодня у него тёплая куртка, крепкие ботинки, новый капюшон, сшитый чужой добротой. И дар. Редчайший дар, от которого у старого мэра побелело лицо.

«Кто я?» — думал Демиан, глядя на звёзды — те же, что светили ему десять лет назад из-под портового навеса, когда он жевал хлеб той женщины. — «Полуэльф без роду без племени. Выродок, которого гонят с вилами. И в то же время — тот, в ком горит сила, какой нет у имперских магов. Что мне с этим делать? Куда идти?»

Можно вернуться в лес. Жить как жил — тихо, в норе, прячась, стреляя зайцев, старея под кустом. Безопасно. Привычно.

Но Бьёрри прав. Так и сдохнуть бирюком.

А можно — на север. Через горы, через великанов и мертвецов, полгода пути в неизвестность. Туда, где, может быть — только может быть, — на его уши всем наплевать. Где его оценят по делу, а не по крови. Где можно найти учителя. Раскрыть то, что в нём горит. Стать — кем-то.

«Живи, — всплыл в памяти голос из-под дождя. — Что бы они ни говорили — живи. Назло им всем».

Демиан медленно поднялся.

Он жил десять лет. Хватит просто жить. Пора — жить назло.

— На север, — сказал он вслух, тихо, одними губами. — Будь что будет.

И пошёл обратно в город — пока лавки не закрылись.

На всё серебро, что оставалось, да на пару медяков, что были свои, он накупил провизии: вяленого мяса, твёрдого сыра, сухарей, мешочек соли, крупы. Купил крепкий заплочный мешок — котомку из просмолённой холстины, в которую всё это уложил. Моток хорошей верёвки — в горах пригодится. Кремень про запас, пару новых наконечников для стрел у того же кузнеца. Всё, что могло понадобиться в долгой дороге.

К ночи он вышел за ворота — уже другим. В тёплой курт-

ке, в крепких ботинках, с капюшоном на голове, с полной котомкой за спиной, с луком за плечом и кинжалом на поясе. Не загнанный зверёк, что дрожал под навесом. Путник. С целью. С дорогой.

Он обернулся на спящий город, на тёмный лес за ним, где в своей тёплой скале спали Бьёрри, Тордис и дети. Постоял. А потом повернулся лицом на север — туда, где над чёрной грядой далёких гор висели холодные яркие звёзды, — и шагнул навстречу приключениям.

Что ждало его там — великаны, мертвецы, учителя, враги, та женщина из сна или сама смерть, — он не знал.

Но впервые в жизни ему было интересно узнать.

ГЛАВА 3. Белый волк

Прошёл месяц.

Месяц дороги на север — пешей, долгой, однообразной, когда один день неотличим от другого, и только стёртые в кровь ноги, да тающие запасы в котомке, да медленно меняющийся вокруг мир говорят, что ты и вправду куда-то идёшь. Демиан шёл упрямо, держась большака, где можно, и звериных троп, где нельзя; обходил стороной деревни и заставы, ночевал в лесу, добывал луком что придётся — зайца, тетерева, однажды повезло с молодой косулей. Капюшон не снимал почти никогда. Привычка стала второй кожей.

И мир вокруг медленно, но верно менялся.

Тёплые дубравы и буковые рощи имперского сердца остались далеко позади. Теперь Демиан шёл по краю, который здешние — те немногие, с кем он всё же перекинулся словом у дорожных колодцев, — называли Хладноверхом, или попросту Верховьем. Это была уже не Империя толком, а её дальняя, нищая окраина, забытая всеми, кто сидел в тёплом Клермоне: земли предгорий, где кончались людские пашни и начиналось царство камня и ветра.

Лес здесь стоял другой — не широколиственный, а хвойный, тёмный, суровый. Чёрные ели вздымались частоколом, мрачные и молчаливые, увешанные седыми бородами ли-

шайника; меж ними лепились корявые сосны, вцепившиеся корнями в тощую каменистую землю. Подлесок поредел, трава стала жёсткой, бурой, по низинам расползлся мох и стелился брусничник с уже прихваченными холодом листьями. Воздух сделался другим — острым, чистым, пахнущим хвоей, стылым камнем и чем-то ещё, незнакомым, от чего щипало в ноздрах. Демиан не сразу понял, что это запах снега.

Дни стали короче. Солнце теперь вставало поздно и неохотно, бледное, и так же рано валилось за горизонт, не успев толком согреть. По утрам на траве лежал иней — тонкий, хрусткий, и Демиан, просыпаясь, видел, как изо рта у него валит пар. Днём ещё держалось подобие тепла, но стоило светилу склониться — и с гор тянуло таким холодом, что он радовался каждой нитке подаренной Бьёрри куртки и каждому вечеру благодарил про себя рыжую Тордис за капюшон.

А впереди — впереди росли они. Горы.

Они надвигались уже который день, поднимаясь из-за линии леса всё выше и выше, и теперь заслоняли собой полнеба на севере. Исполинская каменная гряда — тёмная у подножия, седая и сизая выше, а по самым вершинам, по острым зубьям и пикам, уходящим в облака, — белая. Там лежал снег. Вечный, не тающий даже сейчас, в конце лета, снег, что искрился под закатным солнцем холодным розовым блеском. Горы были огромны, безмолвны и равнодушны, как сам

мир, и смотреть на них было жутко и притягательно разом. Где-то там, за ними, лежал север, о котором говорил гном. А между Демианом и севером стояла эта стена.

В тот вечер темнеть начало совсем рано.

Солнце едва коснулось зубчатой кромки гор, а по лесу уже поползли длинные синие тени, и холод начал сочиться из земли, из камней, из самого воздуха. Демиан поглядел на небо, прикинул — засветло до перевала всё равно не дойти — и решил вставать на ночлег. Он выбрал место под разлапистой старой елью, где земля была посуше, скинул котомку, размял ноющие плечи и принялся собирать валежник для костра.

И тут он услышал треск.

Сухая ветка хрустнула где-то слева — негромко, но в вечерней тишине отчётливо. Демиан замер. Рука сама собой потянулась к кинжалу, но он не стал его доставать — медленно, очень медленно повернул голову.

Шагах в пятнадцати, меж чёрных еловых стволов, стоял волк.

Белый. Снежно-белый, с серым подшёрстком, крупный — но страшно, нездорово худой. Рёбра так и выпирали из-под клочковатой шкуры, бока ввалились, спина горбилась. По левому боку, от лопатки, тянулась тёмная запёкшаяся рана — рваная, старая, в свалывшейся шерсти. Одна лапа он подволакивал. Зверь был один — ни стаи, ни следа её поблизости. Отбил. Или изгнали — слабого, раненого, обречённо-

го. Такие в стае не держатся: или выздоровеет сам, или сдохнет, или, обезумев от голода, пойдёт на то, на что здоровый волк в жизни не пойдёт.

Жёлтые глаза смотрели на Демиана в упор. Не мигая.

Демиан очень медленно, плавно поднялся на ноги. Так же медленно развёл руки в стороны — раскрытыми ладонями к зверю, показывая: у меня ничего нет, я не нападаю, я не угроза. Старый приём, которому научил его лес. Не делай резких движений. Не смотри прямо в глаза — это вызов. Не поворачивайся спиной.

— Тихо, — сказал он негромко, ровно, почти ласково. — Тихо, белый. Тихо. Я тебя не трону.

Волк повёл носом. Ноздри его дрогнули, затрепетали — и Демиан понял, что зверь учуял. Не его. Котомку. Остатки вяленого мяса, что лежали в просмолённой холстине у ели.

Из горла волка пошло низкое, утробное рычание.

— Понятно, — тихо сказал Демиан. — Жрать хочешь. Ну, тебя понять можно.

Не опуская одной руки, другой он медленно присел к котомке, не сводя с волка глаз, нащупал клапан, развязал. Волк напрягся, рык стал громче, но Демиан двигался так плавно, так неторопливо, что зверь не сорвался. Пальцы нашарили кусок вяленого мяса — твёрдый, солёный. Демиан вытянул его, помедлил — и бросил. Не в волка, а под лапы ему, мягко, чтоб упало рядом.

Волк дёрнулся к мясу молнией. Схватил, не жуя, загло-

тил в два рывка, чавкнув, — голодный, страшно голодный зверь. И тут же вскинул морду обратно на Демиана. И зарычал громче прежнего.

Теперь он сделал шаг вперёд. Потом ещё один. Он больше не стоял — он пошёл. Боком, пригнувшись, кругами, не сводя жёлтых глаз, облизываясь, роняя слюну. Мясо только раздражило его. Разбудило голод, который он, может, давил в себе не первый день.

— Всё, — сказал Демиан, и в голосе его прорезалась твёрдость, за которой пряталась тревога. — Больше нет. Это моё. Мне самому идти через горы, мне нельзя без еды. Слышишь? Уходи. Уходи, белый, по-доброму.

Волк не слышал. Или не хотел слышать. Он подходил всё ближе — десять шагов, восемь, шесть. Шерсть на загривке вздыбилась. Губы задрались, обнажив жёлтые клыки. Уши прижались к черепу.

И Демиан понял. Это не угроза и не попрошайничество. Это охота. Голод пересилил в звере всё — страх, осторожность, волчью гордость. Для него Демиан был уже не человеком, которого надо бояться. Для него Демиан был мясом.

Рука Демиана медленно, очень медленно поползла к поясу. К кинжалу. Пальцы легли на рукоять.

— Не надо, — прошептал он. — Не надо, прошу. Не заставляй.

Волк прыгнул.

Он сорвался без предупреждения — стремительной бе-

лой тенью, низко, в ноги. Демиан рванул кинжал из ножен и отшатнулся вбок — зубы клацнули в воздухе там, где секунду назад было его бедро. Зверь приземлился, развернулся на месте с нечеловеческой, звериной быстротой — даже раненый, даже подышающий, он был быстрее человека — и прыгнул снова, теперь выше, в грудь.

Демиан вскинул левую руку, заслоняясь, и правой махнул кинжалом. Клинок чиркнул по волчьему плечу, вспоров шкуру, — но вес зверя уже обрушился на Демиана всей массой. Они покатались по земле, по хвое, по камням. Мир перевернулся — небо, ель, мелькнула котомка, — и Демиан оказался на спине, а сверху навалился волк, рыча, брызжа слюной и горячим смрадным дыханием прямо в лицо.

Клыки рванулись к горлу.

Демиан в последний миг успел вскинуть левую руку — и зубы вцепились в неё, в предплечье, со всей дурной силой голодного зверя. Боль обожгла — но кожаная куртка, та самая, крепкая, на меху, купленная Бьёрри в городской кузнице, выдержала. Клыки впились, прокусили кожу рукава, смяли мех, прижали руку к земле страшным давлением — но до плоти, до жил не достали. Ещё чуть-чуть. Куртка держала.

— А-а-ах! — зарычал Демиан сквозь зубы, задыхаясь под тяжестью зверя.

Он перехватил кинжал поудобнее и, извернувшись, ударил волка в бок. Снизу вверх, под рёбра, с силой. Клинок вошёл в тело, в мякоть. Демиан почувствовал, как хрустну-

ло, как по руке потекло горячее.

Но волк не ослаб.

Наоборот — от боли он словно обезумел. Рык перешёл в визгливое, яростное рычание, челюсти сжались ещё крепче, зверь замотал головой, рванул, пытаясь порвать, стащить руку, добраться до горла. Демиан ударил ещё раз — и ещё, — но зверь будто не чувствовал ран, вцепившись в жизнь и в чужую плоть с тем последним отчаянием, с каким цепляется за всё обречённый.

И вот тут Демиана захлестнула паника.

Настоящая. Такой он не знал никогда. Он дрался и раньше — отбивался от шпаны, зарезал охотника в таверне, — но то было другое. Там он был сильнее, быстрее, там он владел собой. А сейчас — сейчас на нём лежала смерть. Дышала в лицо смрадом, давила к земле, рвала клыками, и он ничего, ничего не мог сделать. Кинжал увязал в чужом теле и не помогал. Рука немела под хваткой. Силы уходили. Зверь был тяжелее, злее, он побеждал — и Демиан впервые в жизни ощутил всем своим существом, кожей, нутром, что это конец. Что вот сейчас, через миг, в этом безымянном холодном лесу у подножия гор, за сотни вёрст от всех, кто знал его имя, он умрёт. Что клыки сейчас дойдут до горла, и всё погаснет, и никто никогда не узнает.

Страх был такой, что всё тело свело. Сердце заколотилось как бешеное, кровь ударила в уши, в виски, в самые кончики пальцев — и в этот миг что-то внутри него лопнуло.

Та струна. Та самая, что натянулась и зазвенела месяц назад, в доме мэра, когда в его ладони вспыхнул фиолетовым огнём аметрин. Тогда камень разбудил её, тронул, вытянул наружу, — и с тех пор она дремала в нём, свёрнутая, неосязаемая, как семя под землёй. А теперь страх, животный, предсмертный, рванул её — и она отозвалась.

Что-то хлынуло из самой его сердцевины. Волна. Жар. Сила, которой он не знал, не звал, не умел назвать, — она просто была, и она вырвалась, потому что он умирал, а она не хотела умирать вместе с ним.

Демиан не понял, что сделал. Он просто вскинул свободную, правую руку — ту, в которой уже не было кинжала, он выронил его, — вскинул раскрытую ладонь к волчьей морде и закричал. Без слов. Просто закричал всем нутром, всем ужасом, всем желанием *жить*.

И из ладони вырвался свет.

Беззвучная вспышка — фиолетово-белая, ослепительная, — и невидимый удар. Воздух загудел, спружинил, и волка сорвало с него. Зверя отшвырнуло — подбросило, перевернуло в воздухе — и швырнуло спиной о чёрный еловый ствол шагах в пяти. Хрустнуло. Волк взвизгнул — коротко, жалобно, совсем по-щенячьи — и мешком сполз к корням, задёргался, засучил лапами и затих.

Наступила тишина.

Полная, оглушительная тишина, в которой Демиан слышал только бешеный стук собственного сердца и свой же

рванный, свистящий хрип.

Он лежал на спине, на земле, глядя в темнеющее небо. Правая рука, вскинутаая вверх, всё ещё дрожала, и от неё — от ладони, от пальцев — поднимался слабый, тающий фиолетовый пар, тонкие нити остывающего света. Кожу покалывало, будто руку отлежал. В голове звенело. И накатила слабость — страшная, мгновенная, будто из него разом выпустили половину крови. Руки-ноги налились свинцом.

Долго — целую вечность, как ему показалось, — он не мог ни встать, ни вздохнуть толком. Просто лежал и дрожал.

Потом, медленно, через силу, он перекатился на бок. Сел. Левая рука ныла — куртка была изжёвана, прокушена, но плоть цела, лишь ссадины да синяки проступали под рваной кожей. Он поглядел на свою правую ладонь — обычную, целую, уже погасшую. Сжал в кулак. Разжал. Ничего. Будто и не было.

А потом перевёл взгляд на волка.

Зверь лежал у ели, не шевелясь. Демиан подполз ближе — осторожно, готовый отпрянуть. Но волк уже не рычал. Бок его слабо, судорожно вздымался — ещё живой, но едва-едва. Удар о ствол переломал ему что-то внутри, возможно позвоночник, да и раны от кинжала своё взяли. Зверь приоткрыл мутнеющий жёлтый глаз, посмотрел на Демиана — без злобы уже, без голода, просто посмотрел, — и Демиан прочёл в этом взгляде то, что знал слишком хорошо сам. Усталость. И одиночество.

Два изгоя смотрели друг на друга в сгущающейся темноте. Отбившийся от стаи зверь и выродок, которого гнал весь свет. Оба — одни. Оба — обречённые. Оба дрались за жизнь до последнего, потому что больше у них ничего не было.

— Прости, — тихо сказал Демиан. Горло перехватило. — Ты просто есть хотел. Как и я когда-то. Я знаю, как это.

Он нашарил в хвое оброненный кинжал. Подобрал. И быстрым, милосердным движением прекратил волчьи мучения — провёл клинком по горлу, одним движением, чтобы не длить.

Зверь дёрнулся в последний раз и затих. Насовсем.

Демиан сидел над ним в темноте, тяжело дыша, и не чувствовал ни торжества, ни облегчения. Только пустоту и дрожь. И ещё — тонкий, холодный ужас, не отступавший, а, наоборот, растущий. Но ужас этот был уже не перед волком.

Перед собой.

Он снова поднёс к лицу правую ладонь. Ту, из которой вырвался свет. Ту, что отшвырнула полуторапудового зверя, как щенка, на пять шагов. Он смотрел на неё и не узнавал. Вот оно. То, о чём говорил старый Гисмунд в своей ратуше, глядя на пылающий аметрин побелевшим лицом. *«Дар без науки — это топор в руках младенца. Либо себя порежешь, либо других. С таким даром ты либо станешь кем-то великим... либо он тебя сожжёт изнутри.»*

Камень. Тогда, в доме мэра, камень не просто показал, что дар есть. Он, видно, разбудил его. Тронул спящее, вскрыл

запечатанное. До того дня сила дремала в Демиане, свёрнутая, немая, — а аметрин сорвал печать, и с тех пор она ждала своего часа, свернувшись где-то под сердцем. И дождалась. Вырвалась сама, без спроса, когда смерть схватила его за горло, — дикая, неуправляемая, страшная.

«Я мог бы убить так человека, — думал Демиан, холодея. — Так же легко. Швырнуть о стену, сломать хребет. Не захотев. Не поняв даже, как.»

Он не знал, радоваться этому или бояться. Склонялся к последнему.

Долго он сидел так в темноте, пока холод не пробрал до костей и не привёл в чувство. Тогда он заставил себя встать. Руки всё ещё дрожали — от слабости, от пережитого, — но дело не ждало. Он кое-как развёл костёр — с трудом, с третьей попытки, пальцы не слушались. Пламя занялось, затрещало, выхватило из тьмы рыжий круг: ель, камни, мёртвого белого волка.

Демиан придвинулся к огню, обхватил колени руками и долго сидел, глядя в пламя, не в силах унять озноб — не то от холода, не то от всего, что было. Над ним, в разрывах еловых лап, зажигались холодные северные звёзды — колючие, яркие, равнодушные. Те же, что светили ему когда-то из-под портового навеса. Те же, что светили над городом Островом, когда он решил идти на север.

Он выжил. Снова выжил. Только теперь он понял, что носит в себе силу, которая может спасти его — а может и по-

губить. И что без учителя, как и говорил мэр, эта сила рано или поздно вырвется опять. В недобрый час. И тогда уже, может, отлетит к стволу не волк.

«Мне нужен учитель, — думал Демиан, глядя в огонь. — Нужен кто-то, кто объяснит. Кто научит держать это в руках. Иначе я сам себе — погибель.»

Где искать такого — он не знал. Знал только, что на севере, куда он идёт, может, и сыщется. А может, и нет.

Костёр трещал. Горы чернели впереди, заслоняя звёзды. А рядом остывал в хвое белый волк — ещё один, кто дрался за жизнь до конца и проиграл.

Демиан подбросил в огонь веток и остался сидеть, один, у подножия гор, со своей новой, страшной тайной.

ГЛАВА 4. Человек со сломанным колесом

Горы Демиан переходил шесть дней.

Шесть дней карабканья по козьим тропам, ночёвок в расщелинах, где ветер выл всю ночь, как стая драугров, о которых пугал Бьёрри; шесть дней, когда он грыз сухари и мёрз так, что поутру не чувствовал пальцев. Но ни великанов, ни мертвецов из курганов он не встретил — только камень, ветер, снег на перевале да орлов, круживших в стылой синеве. Может, повезло. Может, рассказы и были рассказами. А может, те, кто встречал великанов, просто не возвращались рассказать.

На седьмой день тропа поползла вниз.

И мир снова переменился. По эту сторону гор лежала другая земля — суровее и чище. Горы отступили за спину зубчатой стеной, а впереди раскинулось нагорье: широкие холмистые пустоши, поросшие жёстким вереском, уже тронутым осенней ржавчиной; редкие рощицы низких, пригнутых ветром берёз и сосен; седые валуны, разбросанные по склонам, словно великаны и впрямь играли ими в бабки да бросили. Воздух был резкий, солёный — где-то далеко, за холмами, угадывалось студёное море. Небо — огромное, низ-

кое, бегущее серыми рванными облаками. Холодно, ветрено, безлюдно. И красиво — дикой, неласковой красотой, от которой щемило в груди.

Это и был север. Или самый его порог.

Людей тут жило мало. За два дня спуска Демиан увидел всего пару дальних дымков да раз — пастуха со стадом косматых овец, который долго смотрел ему вслед, но не окликнул. Дорога — если можно так назвать две колеи, прорезанные в вереске, — вела на северо-запад, к морю, и Демиан держался её.

На третий день по эту сторону гор, под вечер, он и увидел его.

Сперва — издали. На спуске с очередного холма дорога делала петлю, огибая каменистую низину, и там, в низине, у обочины, что-то стояло. Повозка. Крытая, крепкая, запряжённая парой лошадей, — только стояла она криво, завалившись набок, и возле неё суетился человек.

Демиан остановился. Присел за валуном, по привычке, и долго смотрел.

Повозка была богатая — не крестьянская телега, а добрый купеческий фургон с полотняным верхом на обручах, обитый понизу жестью, расписанный по бортам какими-то выцветшими узорами. Заднее колесо соскочило и лежало в стороне, а ось зарылась в землю — видать, на ухабе разошлась чека, колесо и слетело. Человек возле повозки был один. Немолодой, грузный, в добротном дорожном платье;

он кряхтел, пыхтел, пытался в одиночку приподнять осевший угол фургона рычагом из слегги — и ничего у него не выходило. Лошади меланхолично щипали вереск.

Демиана взяло сомнение.

Подходить к незнакомцу на пустой дороге — дело опасное. Мало ли. Богатый купец — значит, может статься, и охрана где-то рядом, залегла, ждёт. А может, он сам не так прост. А может, едва увидит уши — и заорёт, и погонит, как гнали всегда. За месяц с лишним пути Демиан отвык от людей и разучился им доверять ещё крепче, чем прежде.

«Пройди мимо, — сказал он себе. — Обойди низиной, он тебя и не заметит. Тебе чужие беды ни к чему.»

Но человек у повозки снова налёг на свою слегу, снова сорвался, едва не упал, и выругался так громко и так отчаянно, что ветер донёс до Демиана каждое слово. И было в этой возне что-то до того беспомощное, одинокое и безнадёжное, что Демиан вспомнил вдруг гнома на речке — *ну чё встал раком, ушастый?* — и телегу с рудой, и то, как сам он когда-то не мог ничего поднять, потому что был один.

Он выругался про себя — почти по-гномьи — и встал.

И пошёл вниз, к повозке. Медленно, не скрываясь, чтобы человек увидел его загодя и не испугался внезапности. Но правую руку на всякий случай держал у пояса. На рукояти кинжала. Привычка.

Человек заметил его шагов за тридцать. Разогнулся, утёр лоб, прищурился на приближавшегося путника — высокого,

в тёмном капюшоне, с луком за плечом и ладонью у ножа. Любой другой на его месте насторожился бы. Схватился бы за оружие, попятился, крикнул бы «кто идёт».

А этот — всплеснул руками и заорал на всю низину, радостно, как родному:

— О-о-о! Живая душа! Хвала всем богам, какие есть, и паре-тройке, каких нет! Путник! Эй, путник! Ты ж не призрак, нет? Не мерещишься мне с голодухи и злости? Иди сюда, ради всего святого, иди скорей, ты мне ниспослан самим небом!

Демиан сбавил шаг. Такого он не ждал.

— Да иди, иди, не бойся! — надрывался человек, маша обеими руками. — Я не кусаюсь! Зубов-то, вишь, половины нет, чем кусаться! Ха! Помоги старому дурню, будь человеком!

Демиан подошёл. Остановился в нескольких шагах, оглядел незнакомца.

Был тот лет пятидесяти, может, за. Грузный, пузатый, круглый, как бочонок, с короткими крепкими ногами и такими же короткими руками, которыми он беспрестанно размахивал. Лицо — широкое, красное, обветренное, всё в сеточке лопнувших жилок, с мясистым носом картошкой и маленькими весёлыми глазками, утонувшими в складках. На голове — залихватски заломленная шляпа с обвисшим пером, из-под которой торчали седые вихры. Одет богато, но пёстро и нелепо: кафтан когда-то дорогого сукна, но зано-

шенный и застиранный, с чужого, кажется, плеча; жилет в полоску; шарф, намотанный в три оборота; на пальцах — перстни, и серебряные, и явно медные, вперемишку. Весь он был какой-то разноцветный, шумный и совершенно безобидный на вид — ярмарочный, балаганный человек.

— Ну что ты встал, как неродной? — тараторил незнакомец, уже волоча Демиана за рукав к повозке. — Колесо, вишь, слетело, паскуда такая, чека вылетела на ухабе, а колесо — хлоп! — и лежит. А фургон гружёный, я его один не подыму, хоть ты тресни, пупок развяжется. А ты вон какой ладный, молодой, подсобишь — в долгу не останусь! Держи вот слегу, подденем с двух сторон, а я колесо насажу. Ну?

Демиан медлил. Он ждал этого мига — когда человек приглядится. Увидит.

И человек увидел. Капюшон Демиана чуть сполз на ветру, открыв кончик острого уха. Незнакомец глянул — скользнул взглядом раз, другой. Замер на полуслове.

Вот оно, подумал Демиан, и пальцы сами сжались. Сейчас. А человек сдвинул шляпу на затылок, почесал лоб и сказал:

— О. Нелюдская кровь. Эльфы, что ль, в роду? Или полукровка? — Он склонил голову набок, разглядывая без страха, скорее с живым любопытством. — Полукровка, ага. По росту вижу — не чистый, те дылды. Надо же. Давненько я ваших не встречал. — И, не меняя тона, вдруг снова ткнул ему в руки слегу: — Ну чего встал? Поддевай, говорю, с той

стороны! Колесо само себя не наденет, оно у меня учёное, но не настолько!

Демиан стоял с слегой в руках и хлопал глазами.

— Ты... — выговорил он наконец. — Ты не боишься?

— Кого, тебя, что ль? — фыркнул человек. — А чего тебя бояться? Ты ж мне колесо чинить пришёл, а не глотку резать. Или резать? — Он прищурился лукаво. — Не-е, по роже видать — не резать. Рожа у тебя хорошая, честная, хоть и хмурая. Ну так чего?

— Все боятся, — медленно сказал Демиан. — Или ненавидят. Люди. Увидят уши — и всё.

— А-а, это, — отмахнулся человек, будто речь шла о пустяке. — Люди, брат, дураки по большей части. Боятся того, чего не нюхали. Эльф, гном, человек — да хоть зелёный весь в крапинку, — мне-то что за дело, коли ты мне пособишь воз поднять? Я на своём веку, мил человек, кого только не повидал. Поддевай, не тяни, спина у меня не казённая, стоять согнувшись.

И Демиан — в который уже раз за эти недели — почувствовал, как мир снова качается под ногами. Нелюди, что приютили. Мэр, что не плевал. А теперь — этот пёстрый шумный толстяк, которому и впрямь было плевать, какие у Демиана уши, лишь бы руки на месте.

Он поддел слегу под ось. Навалился. Человек подхватил колесо — кряхтя, пыхтя, но ловко, — насадил на ось, вбил новую чеку, которую достал из короба, прихлопнул обухом

топорика. Фургон качнулся, встал ровно на все четыре.

— ВО! — заорал человек, выпрямляясь и утирая пот со лба. — Вот это я понимаю! Вот это руки! А я, старый пень, час тут корячился один, аж охрип ругаться! Ну, давай знакомиться, что ли, спаситель мой ушастый.

Он протянул пухлую ладонь, унизанную перстнями.

— Освальд. Освальд Пряжка, честный торговец, а по правде — коробейник, офеня, бродячий барахольщик, как ни назови. Вожу по северным весям всё, что худо лежит и хорошо продаётся: нитки, иглы, ленты, пряжки — отсюда и прозвище, — ножи, гребни, зеркальца, пуговицы, снадобья от хворей, которых не бывает, и амулеты от бед, которые ещё как бывают. От самых гор до самого моря меня каждая собака знает, и каждая вторая — любит! А которая не любит, та просто мне ещё должна денег. Ха! А тебя как звать-величать, добрый человек?

Демиан помедлил. Но пожал протянутую руку — тёплую, мягкую, крепкую.

— Демиан.

— Демиан! — обрадовался Освальд так, будто услышал имя родного сына. — Хорошее имя. Крепкое. Ну, Демиан, слушай сюда: услугу ты мне оказал немалую, а Освальд Пряжка долгов не любит и добро помнит. Куда путь держишь?

— На север. К морю. Дальше — не знаю.

— «Не знаю»! — всплеснул руками коробейник. — Идёт

человек на север и сам не знает куда! Красота! Да ты, брат, по адресу заблудился. — Он хохотнул собственной шутке. — Слушай. Я как раз на север качу, к побережью, в Хравнсфьорд — это городишко такой на берегу, вольный порт, торговый. Мне туда товар везти. Лезь в фургон, подвезу. Чего тебе ноги бить, когда колёса есть? А в дороге и поговорим, и поедим — у меня там, в коробе, и хлебушек, и рыбка копчёная, и фляга кое-чего горячительного, от которого на душе теплеет, а в ногах холодеет. А то, гляжу, ты отощал, как мой второй мерин, прости господи. Ну? По рукам?

Демиан смотрел на него — пёстрого, шумного, щедрого, безобидного — и не находил причины сказать «нет». Впервые за долгое время рядом с человеком ему не было страшно.

— По рукам, — сказал он. И впервые за много дней — улыбнулся.

— ВО! — снова возликовал Освальд. — Умный малый! Залезай, залезай. Но-о, клячи ленивые, пошевеливайтесь, нас Хравнсфьорд ждёт!

Фургон катил по вересковой пустоши, поскрипывая, покачиваясь на ухабах. Освальд правил, Демиан сидел рядом на облучке, и коробейник, как и обещал, не умолкал ни на минуту — да Демиан и не возражал. После месяца одиночества, после волка, после вечного молчания этот безудержный людской говор был как тепло костра.

Освальд достал из короба обещанное — краюху ржаного хлеба, увесистый шмат копчёной рыбы, жёлто-золотой, жир-

ной, пахучей, — и флягу. Разломил, разделил всё пополам, не считая, не меряя, сунул Демиану большую часть.

— Ешь, ешь. Тощий больно. На севере тощим нельзя, тут зима злая, жир — он жизнь. Я вон какой гладкий — оттого и живой до седых волос! — Он гулко хлопнул себя по круглому пузу и захохотал.

Ели. Рыба была дивно хороша — Демиан такой отродясь не пробовал. Фляга пошла по кругу — внутри оказалась какая-то крепкая травяная настойка, обжёгшая горло и разлившая по телу тепло. И под еду, под качку, под бескрайнее серое небо — разговорились.

— Так откуда ж ты такой взялся, Демиан? — спросил Освальд, жуя. — По выговору — южанин. Имперец, что ль?

— Из столицы, — сказал Демиан. — Из Клермона. Давно ушёл. Иду вот... — он махнул рукой на север, — куда-нибудь. Где не гонят таких как я.

— Из самого Клермона! — присвистнул коробейник. — Эка тебя занесло. От сердца Империи — да на самый её выселок, где уж и Империи-то толком нет, одни вольные городишки да рыбаки. Ну, тут ты верно рассудил. — Он покоился на уши Демиана, скрытые капюшоном. — От гонителей бежишь, значит.

— Всю жизнь бегу.

Освальд пожевал, помолчал — редкий для него случай. Потом сказал, уже без балагурства:

— А я тебе так скажу, брат. Тут, на севере, оно полегче

будет. Не рай, не думай — люди везде люди, и дурней хватают. Но народ тут другой. Викинги, норды, как их ни зови. — Он кивнул вперёд, к невидимому ещё морю. — Они по крови не судят. У них вера такая — боги их сами, вишь, то с великанами роднились, то с эльфами, то ещё с кем. Так чего ж им чужую кровь корить, когда у их богов самих родословная — чёрт ногу сломит? Тут спросят не «чей ты сын», а «что ты можешь». Можешь грести — греби. Можешь драться — дерись. Можешь торговать — торгуй, как я, старый жулик. А уши у тебя или рога — дело десятое.

Демиан слушал жадно.

— Это правда? Или сказки, как про великанов в горах?

— Великаны в горах, промежду прочим, не сказки, — назидательно поднял палец Освальд. — Я одного видал. Издали, хвала богам. С дом ростом, страшон, как смертный грех, и воняет — за версту. Но глупый, как пробка. Я ему покати под ноги бочонок пустой — он за бочонком, а я ходу. Так и ушёл. Ха! Освальда Пряжку голыми руками не возьмёшь! — Он снова захохотал, довольный собой, но тут же посерьёзнел. — А про север — правда. Сам увидишь, в Хравнсфьорде. Там и нелюдей встретишь — не много, но есть. Гном-корабел один, Торгрим, лучшие кили на всём побережье ставит, его там на руках носят. И эльфа видал как-то — травница, что ли, лекарка. Никто их не трогает. Торгуют, живут, пьют в тех же тавернах. Диво для тебя, поди?

— Диво, — честно сказал Демиан. — Я всю жизнь думал,

что люди меня везде убить хотят. А тут... гном меня спас. Мэр поил кофеем. Ты вот подвозишь. — Он покачал головой. — Голова кругом.

— Эх, брат. — Освальд вздохнул, и в весёлых его глазах мелькнуло что-то серьёзное, почти грустное. — Мир не так чёрен, как кажется из-под кулака. Бьют тебя — так ведь не все же. Знаешь, сколько я дорог исходил? Тыщи. И видал всякое — и зверство видал людское, аж волосы дыбом, и доброту такую, что плакать хочется. И понял одну штуку: человек — он не по крови добрый или злой. Он по нутру. Есть добрые люди и злые люди, добрые эльфы и злые эльфы, добрые гномы и — да полно! — злые гномы, скупые да вредные, тьфу. А порода тут ни при чём. Порода — это так, кожа. Яблоко внутри — вот что важно.

Демиан молчал, глядя на бегущую под колёса дорогу. Эти простые слова пёстрого коробейника вдруг легли на душу тяжелее иной учёной мудрости.

— Почему ты мне всё это говоришь? — спросил он тихо. — Ты меня первый раз видишь.

— А чего ж не сказать доброму человеку доброе слово? — пожал плечами Освальд. — Оно денег не стоит, а глядишь — пригодится. Ты мне колесо поднял — я тебе дорогу покажу да словом утешу. Так мир и держится, брат, на мелочах этих. Не на королях да войнах — на колесе, поднятом да на куске рыбы разделённом. Верь старому Освальду, он много чего повидал.

Они ехали. Солнце клонилось к морю — где-то впереди, за холмами, небо начинало рдеть холодным северным закатом. Освальд снова затянул что-то — то ли песню, то ли байку про бабу из Хравнсфьорда, у которой он однажды выменял котёл на три пуговицы и чуть не женился, — и Демиан слушал, грел руки о флягу и впервые за очень, очень долгое время чувствовал себя почти спокойно.

И тогда, под мерный скрип колёс, он решился. Сам не зная почему — может, от настойки, может, от этого тепла, которого так давно не было, — но захотелось вдруг рассказать. Хоть кому-то. Хоть раз.

— Освальд.

— М?

— Со мной одна штука приключилась. Недавно. В горах. — Демиан замялся, подбирая слова. — Я... не знаю, что это было. И не знаю, кому рассказать. А ты вроде... много повидал.

Коробейник покосился на него, и весёлые глазки сделались внимательными.

— Ну, рассказывай, — сказал он уже без балагурства. — Освальд умеет не только болтать. Умеет и слушать, когда надо. Что за штука?

И Демиан начал рассказывать.

Про волка — про белого худого зверя, что вышел из чёрного ельника, про схватку, про то, как клыки сомкнулись на руке и как куртка, подаренная гномом, не дала перегрызть

ему жилы. А потом — про то, что было дальше. Про струну, лопнувшую внутри. Про свет, вырвавшийся из ладони. Про то, как зверя отшвырнуло о ствол, будто невидимой рукой. И про камень в доме мэра, что загорелся фиолетовым, когда он взял его, — про то, как старый Гисмунд побелел и сказал: *с таким даром ты либо станешь кем-то великим, либо он тебя сожжёт изнутри.*

Освальд слушал. И — редкое дело — молчал всю дорогу, не перебивая, только вожжи в руках подрагивали да лошади шли сами. Весёлые глазки сузились, лицо сделалось серьёзным, не балаганным, и Демиан вдруг увидел, что под шутовской пёстрой шкурой коробейника прячется человек куда более старый и умный, чем кажется.

Когда Демиан закончил, повисла тишина. Только колёса скрипели да ветер шёл по вереску.

— Да-а, — протянул наконец Освальд. Снял шляпу, поскрёб седые вихры, нахлобучил обратно. — Вон оно что. То-то я гляжу — есть в тебе что-то. Идёшь — а воздух будто колышется. Я поначалу на настойку грешил, старый дурак. А оно вон как.

— Ты мне веришь? — тихо спросил Демиан. Он почти ждал, что коробейник отмахнётся, засмеётся, объявит всё враками.

— Верю, брат. — Освальд поглядел на него прямо, без тени усмешки. — Повидал я на своём веку чародейства — немного, издали, но повидал. Знаю, как оно бывает. И знаю

главное: штука эта страшная. Ты вот говоришь — не хотел, само вышло. Вот это и есть самое поганое. — Он покачал головой. — Сила, которая сама из тебя прёт, когда тебе худо, — она ж не разбирает, кто перед тобой. Нынче волк. А завтра, не приведи боги, со страху да сгоряча — человек. Друг, может. Или дитя какое под руку попадётся. И всё, и не воротишь.

Демиан опустил голову. Освальд сказал вслух ровно то, чего он сам боялся все эти дни.

— Знаю, — глухо сказал он. — Потому и боюсь. Мэр говорил — учитель нужен. Чтоб научил держать это в узде. Да где ж его взять.

Освальд пожевал губами, задумался. Долго молчал — для него небывало долго.

— Слушай-ка, — сказал он наконец. — Болтать попусту не стану, брехать — не Освальдово дело, когда разговор серьёзный. Но слышал я одну вещь. По северным-то весям чего только не наслушаешься у костра да в таверне. — Он понизил голос, хотя слушать было некому, кроме вереска да лошадей. — Говорят, живёт где-то на побережье, далече, за Хравнсфьордом, в глухих фьордах, не то ведьма, не то ведун. Люди зовут — Вёльва. Это у них, у нордов, так провидиц-колдуний кличут, старое слово. Будто бы она древняя, страсть какая старая, и будто бы силу знает — настоящую, не бабкины наговоры от сглаза, а ту самую, твою. И будто бы — тут уж не поручусь — берёт иной раз учеников. Тех, в

ком дар горит. Редко. По выбору. Но берёт.

Демиан поднял голову. Что-то дрогнуло в груди — не надежда ещё, но её тень.

— Это правда? Или сказка?

— А кто ж его знает, — честно развёл руками Освальд.
— Я у неё чаю не пил, свечку не держал. Может, и сказка. На севере сказок — что снега зимой. Но дыма без огня не бывает, брат. Раз болтают — значит, кто-то кого-то да видал. В Хравнсфьорде поспрошай. Там народ бывалый, мореходы, рыбаки — кто-нибудь да слышал про Вёльву больше моего. Может, и дорогу укажут. — Он покосился на Демиана. — Только гляди. Колдуны — они не добрые дядьки с пряниками. За науку плату берут, и плата бывает всякая. Иной раз — пострашнее денег. Так что ты, коли сыщешь её, — семь раз подумай, прежде чем в ученики проситься.

— Я подумаю, — сказал Демиан. Но внутри уже знал: пойдёт. Выбора-то и нет. Либо учиться, либо жить с бомбой под сердцем, которая однажды рванёт в недобрый час.

— Ну и ладно, — кивнул корабейник и, будто стряхнув с себя серьёзность, вдруг снова расплылся в улыбке и хлопнул Демиана по колену. — Чего суксился? Ну, дар у тебя. Так это ж, брат, не проказа! Иные всю жизнь мечтают — да пустые, как барабан. А в тебе — горит! Другой бы на радостях плясал, а ты сидишь, как на поминках. Выше нос! С таким-то подарком судьбы — да на вольный север — да при живом Освальде Пряжке в провожатых — пропасть тебе ни-

как нельзя, невместно! На, глотни ещё, согрейся, да песню мне подтягивай, а то едем, как на похороны!

И он снова затянул что-то разудалое, перевирая слова и мотив, и так заразительно, так от души, что Демиан, сам не заметив, начал улыбаться. А потом и подпевать — тихо, неумело, не зная слов, — но подпевать. И покатился их пёстрый фургон дальше на север, под рдеющим закатным небом, и два голоса — один зычный и пропитой, другой молодой и несмелый — летели над вересковой пустошью навстречу ветру и морю.

Море они увидели на закате следующего дня.

Сперва Демиан почуял его — задолго до того, как увидел. Воздух налился солью, йодом, запахом водорослей и рыбы, свежим и резким. Ветер переменился, пошёл в лицо, ровный и сильный, несущий крик чаек. А потом фургон выкатил на гребень последнего холма — и внизу, во всю ширь горизонта, развернулось оно.

Студёное северное море.

Серо-стальное, огромное, живое. Оно дышало длинными валами, что катились к берегу и разбивались о чёрные скалы белой пеной. По свинцовой воде бежали барашки, вдали таяла дымка, и в разрыве туч закатное солнце прочертило по волнам багряно-золотую дорожку — холодную, мерцающую. Над водой с криком носились чайки, качались на волнах белыми точками. Демиан, выросший в душных имперских лесах и городах, замер на облучке, не в силах вымолвить ни

слова. Он и не знал, что в мире бывает столько простора. Столько серой, дикой, вольной воды.

— Красиво, а? — негромко сказал Освальд, и в голосе его впервые не было ни шутки, ни балагурства — одна тихая, старая любовь. — Я вот сколько лет по северу мотаюсь — а как море увижу, так и обомлею каждый раз, будто впервой. Оно, брат, большое. Рядом с ним все наши беды — тьфу, мелочь. Полезно иногда посмотреть, чтоб нос не задирать.

А чуть правее, там, где в сушу врезался глубокий извилистый залив — фьорд, зажатый меж крутых тёмных склонов, — лепился к берегу город.

Хравнсфьорд.

Он был не похож ни на что, виденное Демианом прежде. Ни имперских каменных стен, ни черепичных крыш, ни церковных шпилей. Город сбегал к воде по склону фьорда россыпью длинных деревянных домов — приземистых, крепких, рубленых из потемневшего бруса, с крутыми крышами, крытыми дёрном и тёсом; на иных крышах росла настоящая трава, и паслись даже, Демиан глазам не поверил, две-три козы. Из дымоходов валил дым, стелился по ветру. Над крышами торчали резные коньки — драконьи да звериные головы, скалящиеся в небо. А внизу, у самой воды, тянулись длинные деревянные причалы, и к ним жались корабли — те самые северные ладьи, драккары, узкие, хищные, с высоко загнутыми резными носами, с полосатыми спущенными парусами и рядами вёсел вдоль бортов. Иные стояли на при-

коле, иные вытащены на берег для починки, и повсюду копошился народ.

И народ этот был под стать своим кораблям.

Рослые, широкоплечие, светловолосые и рыжебородые мужи в кожаных и шерстяных одеждах, многие при оружии — топоры за поясом, ножи, у иных и мечи. Женщины — высокие, статные, в длинных платьях с передниками на лямках, скреплённых на плечах блестящими фибулами, с ключами и ножами на поясе, ходившие прямо и гордо, не опуская глаз. Сновали дети, лаяли мохнатые псы, кричали торговцы, стучали молоты в кузнях, пахло смолой, рыбой, дымом, солёной кожей и свежим деревом. Жизнь кипела — грубая, шумная, вольная, ничуть не похожая на забитую, пришибленную жизнь имперских деревень.

Фургон покатил вниз, к городским окраинам. И тут Демиан, сжавшись было по старой привычке и натянув капюшон поглубже, стал замечать то, от чего сердце его забилося чаще.

На него смотрели. Конечно, смотрели — чужак в фургоне коробейника. Но смотрели не так. Без ненависти. Без страха. Любопытно, оценивающе, порой равнодушно — но не враждебно. Здоровенный рыжий кузнец, завидев Освальда, махнул ему клещами и гаркнул что-то приветственное. Баба с корзиной рыбы окликнула коробейника по имени. А у одного из причалов Демиан увидел — и впрямь увидел, Освальд не соврал — приземистую кряжистую фигуру с длинной бородой, заплетённой в косы: гном, в кожаном фартуке, распо-

ряжался артелью рослых нордов, что ошкуривали корабельный киль, и те слушали его, кивали, звали, кажется, мастеров.

Гном. Среди людей. При деле. В почёте.

А дальше, у дощатого лотка с пучками сушёных трав и кореньев, стояла высокая тонкая фигура в сером плаще с капюшоном, и из-под капюшона — Демиан мог бы поклясться — виднулся кончик длинного, изящного эльфийского уха. И люди подходили к ней, брали травы, клали монеты, перекидывались словом — спокойно, буднично, как с любой другой торговкой.

У Демиана перехватило горло.

Он всю жизнь прятал уши. Всю жизнь ждал удара, плевка, крика «нечисть!». Всю жизнь был один против целого света. А здесь, в этом сером, продутом ветрами городе на краю мира, нелюди стояли у лотков и у кораблей, и никто — никто — не тянулся за вилами.

— Ну вот, брат, — сказал Освальд, правя фургон в путаницу городских улочек, и глаза его хитро блеснули из-под обвисшего пера. — Добро пожаловать в Хравнсфьорд. Вольный город вольных людей. Тут тебя не спросят, чей ты сын да какой крови. Тут спросят только, крепка ли рука да чист ли уговор. — Он покосился на оцепеневшего Демиана, на его приоткрывшиеся губы, на то, как тот неверяще смотрел по сторонам, — и вдруг тепло, совсем по-отечески усмехнулся. — Да сними ты капюшон-то. Сними, сними, не бойся. Ты

теперь на севере. Тут можно.

Демиан поднял руку. Помедлил.

И медленно, впервые за месяцы, впервые по доброй воле на людной улице, среди толпы, под открытым небом — откинул капюшон с головы.

Ветер с моря тут же растрепал его чёрные волосы, холодно тронул открывшиеся острые уши. Демиан напрягся, сжался, ожидая — вот сейчас кто-то закричит, ткнёт пальцем, ша-рахнется.

Мимо прошла женщина с коромыслом. Скользнула по нему взглядом — по ушам, по лицу — и пошла дальше, думая о своём. Пробежал мальчишка, гоня палкой обруч, даже не обернулся. Рыбак у ворот сплюнул под ноги, глянул на чужака в фургоне Пряжки — и кивнул, равнодушно, как кивают любому.

И всё. И ничего. Никто не закричал. Никому не было дела.

Демиан сидел на облучке въезжающего в Хравнсфьорд фургона, с откинутым капюшоном, с открытыми всему свету ушами, — и чувствовал, как по щеке, горячая на холодном ветру, ползёт одна-единственная слеза, которую он не стал вытирать.

Впервые в жизни он был не выродком.

Впервые в жизни он был просто — человеком среди людей.

Над фьордом с криком кружили чайки, стучали молоты в кузнях, пахло морем и дымом, и город — суровый, шумный,

вольный — принимал его, не спрашивая, какой он крови.
Он дошёл до севера.

ГЛАВА 5. Хравнсфьорд

Хравнсфьорд пах морем, дымом и рыбой.

Въехавшие в город фургоны гремели по булыжнику, и лошади тянули в гору с натугой. Улицы здесь были узкими, но не тесными: дома стояли друг от друга на расстоянии, оставляя место для водостоков и поленниц. Большинство — рубленые, тёмные, крепкие, с покатыми крышами, прижатыми камнями. Ветер не давал им расшататься и не позволял дыму подниматься прямо вверх: тот стелился над кровлями сизыми полосами, а потом расползался по склонам.

Демиан ехал рядом с Освальдом и всё ещё не мог привыкнуть к тому, что на него не кричат.

Он оставил капюшон откинутым. Уши мёрзли на ветру, волосы лезли в глаза, но он не натягивал ткань обратно. Каждый раз, когда кто-нибудь смотрел в его сторону, Демиан напрыгался. И каждый раз взгляд проходил мимо — задерживался на фургоне, на Освальде, на товарах, — но не превращался в обвинение.

Это было страннее, чем если бы его встретили с вилами.

— Ты чего такой, будто тебя на поминки привезли? — спросил Освальд, правя между двумя телегами. — Расслабься. У нас тут, конечно, тоже народ не сахар, но никто тебя не сожрёт. Разве что трактирная похлёбка. Вот она — та ещё

тварь.

Демиан посмотрел на него.

— Ты говорил, что тут не судят по крови.

— Ага. Не судят. Но могут обсчитать, если вид у тебя простодушный. Или огреть дверью, если встанешь не там. Или влюбиться в тебя по уши, если ты богатый. Север — он не рай, брат. Просто беды тут другие.

— Успокоил.

— А я умею.

Фургон свернул к рыночной площади. Здесь было шумнее: торговцы выкрикивали цены, спорили грузчики, звенели молоты кузнецов. С моря тянуло холодом. На причалах теснились корабли, и на их мачтах хлопали вымокшие паруса. Между складами проходили люди — в шерстяных плащах, меховых воротниках, кожаных передниках. У многих на поясе висел нож. У некоторых — топор или меч. Но оружие здесь не выглядело угрозой: скорее, привычной частью одежды, как у рыбаков — крючки и верёвки.

Освальд остановил фургон у длинного склада, на двери которого был вырезан чёрный ворон с расправленными крыльями.

— Тут моё торговое место, — объявил он. — Не дворец, конечно, зато крыша не течёт. Обычно.

Пока он принимал товар и ругался с грузчиками из-за двух коробок, которые кто-то поставил не туда, Демиан стоял рядом. Ничего не делал, только смотрел.

К складу подошёл гном в кожаном фартуке и с бородой, заплетённой в четыре короткие косы. Он пожал Освальду руку, что-то спросил, а потом посмотрел на Демиана.

— Новый помощник? — спросил он.

— Новый знакомый, — отозвался Освальд. — Демиан. Путь его длинный, карман пустой, а характер, говорят, пока ещё не испортили.

— Тогда не оставляй его без присмотра, — сказал гном. — Тут таких сразу пристроят. Или на работу, или в долги.

Он произнёс это без злобы и продолжил заниматься грузом.

Демиан перевёл взгляд на Освальда.

— Ты всех тут знаешь?

— Всех — нет. Но со многими знаком. А с теми, кого не знаю, обычно знакоблюсь, когда они мне что-нибудь должны.

— Или ты им?

— Вот потому и не спрашиваю.

Освальд закончил торговаться, получил за товар небольшой мешочек монет и, пересчитав его, спрятал за пазуху.

— Ну что, — сказал он, — теперь надо тебя устроить. Сперва поесть, потом под крышу. И не спорь: голодный человек — плохой собеседник. А я люблю, когда мне отвечают.

— Ты и без ответов не замолкаешь.

— Вот видишь. А с ответами будет ещё лучше.

Они повели фургон к постоялому двору у нижней части

города. Вывеска над дверью изображала огромную рыбью кость, похожую на корабельный хребет. Под ней было выведено: «Китовая Кость».

— Надёжное место, — сказал Освальд. — Кровати твёрдые, пиво слабое, зато хозяйшка добрая. Ну, почти. Если не трогать её кота.

— А если тронуть?

— Тогда лучше сразу уходи. Кот тут главный. Хозяйка просто собирает деньги.

Внутри было тепло илюдно. В очаге потрескивали дрова, на стенах висели весла, сети и потемневшие от копоти щиты. Вдоль окон стояли столы, а у стойки спорили трое моряков. Запахло жареной рыбой и луком — так сильно, что у Демиана снова свело живот.

За стойкой хозяйничала высокая женщина с тяжёлой светлой косой, перекинутой через плечо. На вид ей было за сорок; на предплечье виднелась старая татуировка — корабль с поднятыми парусами. Освальд поздоровался с ней как с давней знакомой.

— Сигрун! Я привёл тебе гостя.

— Ты каждый раз приводишь гостя, Освальд, — ответила она. — Иногда даже платёжеспособного.

— Вот именно. Значит, иногда.

Она глянула на Демиана. Взгляд задержался на ушах, потом поднялся к лицу.

— Кровь эльфийская?

— Да, — ответил он.

— Понятно. Комната нужна?

Демиан замер, не уверенный, что правильно понял вопрос.

— Если можно.

— Можно. На ночь — шесть медяков. Еда отдельно. Не устраивай драк, не води девок, не таскай в комнату оружие с кровью и не выпускай кота за дверь. За кота плата особая.

— А если он сам выйдет?

— Тогда ты его поймашь.

Сигрун поставила перед ним миску густой похлёбки, отрезала ломоть чёрного хлеба и указала на стол возле очага. Никаких вопросов о том, откуда он пришёл, кто его отец и зачем он здесь. Только цена и правила.

Демиан сел. Освальд плюхнулся напротив и тут же принялся рассказывать Сигрун, как однажды спас её двоюродного брата от утопления.

— Ты его не спасал, — сказала она, наливая ему пиво.
— Ты его из лодки вытолкнул, потому что сам плавать не умеешь.

— Мелочи. Главное — выжил же.

— Потому что сам доплыл до берега.

— Вот! А я ему шанс дал.

Демиан ел молча, понемногу, стараясь не наброситься на пищу. Похлёбка была горячая, с кусками рыбы, картофеля и чего-то пряного. Он чувствовал, как тепло расплзается от

желудка к плечам. Вокруг гудели разговоры, звенела посуда, кто-то смеялся. Никто не требовал от него оправданий.

Только иногда он ловил на себе взгляды. Не враждебные, но любопытные. Для большинства он был незнакомцем, и этого хватало.

Когда с едой было покончено, Освальд отвёл его наверх и показал небольшую комнату под самой крышей. Там стояла узкая кровать, сундук, табурет и умывальник с кувшином. В щели между ставнями свистел ветер.

— Дворец, — сказал Освальд. — Особенно если сравнить с канавой.

Демиан положил котомку у стены.

— У меня нет денег на комнату.

— А у меня есть. Я плачу за доставку, за помощь с колесом и за то, что ты слушал мои байки, не бросившись с обрыва. Это, брат, дорогая услуга.

— Я верну.

— Вернёшь, если захочешь. Не захочешь — буду рассказывать, что ты мне должен. Так даже веселей.

Освальд спустился в зал, пообещав вернуться через час: ему надо было «решить пару торговых дел», что, по его словам, означало выпить пива с тремя знакомыми и узнать у каждого, кто кому сколько должен.

Демиан остался один.

Он снял куртку, сел на кровать и впервые за долгие недели просто оглядел место, в котором собирался провести ночь.

Не заросли, не каменная расщелина, не холодная земля. Крыша. Стены. Дверь, которую можно закрыть.

От этой мысли ему стало тревожно.

Внизу кто-то громко рассмеялся. Демиан вздрогнул, потом сам над собой усмехнулся. Он всё ещё ждал, что любой смех обернётся криком, любой взгляд — плевком, любое спокойствие — ловушкой.

Он встал и спустился в зал.

Освальд сидел за столом с двумя моряками и уже успел заказать себе ещё одну кружку. Увидев Демиана, он помахал рукой.

— А вот и он! Садись. Тебе надо найти, куда дальше идти, а мне — узнать, кто из этих двоих врёт. Они спорят, чей корабль быстрее. Оба старые, оба дырявые. Значит, оба врут.

Моряк с перевязанной кистью хмыкнул:

— В Хравнсфьорде врать умеет каждый. Просто Освальд берёт за это деньги.

— Я за правду беру, — возразил коробейник. — За враньё у меня отдельный тариф.

Демиан сел. Разговор покатился о морских бурях, ценах на соль и о судне, пропавшем у северных островов. Один из моряков рассказывал, что его команда вытащила из воды обломок резной фигуры — не человеческой, с длинными рогами и лицом, похожим на череп. Другой утверждал, что корабль пропал не из-за шторма, а потому что капитан взял на борт «плохую примету».

— Капитан взял на борт плохую примету? — переспросил Освальд. — Вот это беда. А я думал, он взял на борт тебя.

Моряки захохотали.

Демиан слушал вполуха. Он всё ещё думал о рассказе Освальда — о Вёльве, живущей где-то в дальних фьордах. Но не хотел спрашивать сразу: имя колдуньи казалось слишком важным, чтобы бросать его в разговор между шутками о кораблях.

Потом, когда моряки ушли к стойке, он всё же решился.

— Ты говорил, что люди в городе могут что-то знать о Вёльве.

Освальд пожал плечами.

— Могут. Только спрашивать надо не у тех, кто громче всех орёт. У моряков новости бывают, но за каждую у них своя цена. Обычно кружка. Иногда две.

— А если я хочу найти её?

— Тогда тебе сперва надо узнать, где она живёт. А потом — почему ей вообще вздумается с тобой говорить. — Освальд потёр подбородок. — Но тут есть один человек, который может подсказать. Старый Хальвар, у причалов. Он водит суда между островами и знает все фьорды, куда не всякая карта дорисована. Правда, он вредный, как вошь в шерстяных штанах.

— Ты его знаешь?

— Конечно. Он мне должен две серебряные монеты и одну услугу.

— А ты ему?

— Тоже две монеты. Но это совсем другая история.

Демиан посмотрел на него с сомнением.

— И он поможет?

— Не знаю. Но расскажет. любит рассказывать. Особенно если слушатель платит за пиво.

Освальд допил свою кружку и поднялся.

— Пойдём. Пока он не уплыл, не уснул или не вспомнил, что я ему что-то должен.

Они вышли к причалам, когда город уже темнел. Закат погас за холмами, но у воды ещё держался сумеречный свет. Фонари качались на ветру, бросая жёлтые пятна на доски. Корабли скрипели у причалов, привязанные канатами, а под настилами плескалась чёрная вода.

Хальвар нашёлся у конца дальнего пирса. Сухой, костлявый старик с выцветшей бородой и шрамом через щеку сидел на перевёрнутой бочке и чинил сеть. Он не поднял головы, когда Освальд подошёл.

— Я тебе ничего не должен, — сказал он.

— Вот так всегда, — вздохнул Освальд. — Здравовался бы сперва, а потом врал.

Старик сплюнул за борт.

— Чего надо?

— Это Демиан. Ищет Вёльву. Ты про неё чего-нибудь слышал?

Хальвар перестал чинить сеть. Посмотрел на Демиана —

сначала на лицо, потом на уши, затем задержал взгляд на его правой руке.

— Слышал, — сказал он. — Но это не значит, что знаю, где она. А знать — не значит, что поведу тебя.

— Почему? — спросил Демиан.

— Потому что к ней не идут за тем, чтобы узнать погоду. И не возвращаются от неё теми же, какими пришли.

— А что она делает?

— Если бы я знал, парень, то, может, и сам бы к ней сходил. — Хальвар вернулся к сети. — Говорят, живёт за Чёрным Зубом, в верхнем фьорде. Говорят, умеет смотреть в будущее. Говорят, умеет говорить с мёртвыми. Говорят, берёт учеников, если видит в них силу. Слов много. Дорога одна — тяжёлая.

Демиан почувствовал, как по спине прошёл холодок — и не от ветра.

— Ты видел её?

— Нет.

— А кто видел?

Хальвар хмыкнул.

— Тот, кто видел, не любит об этом говорить.

Освальд наклонился к Демиану и шепнул:

— У него всегда так. Даже когда он видел собственный завтрак, он не любит об этом говорить.

Старик услышал.

— А ты всегда много болтаешь.

— Это потому, что молчание дорого стоит. Ты же за него берёшь.

Хальвар фыркнул, но в уголке его рта мелькнула улыбка. Он отложил сеть и посмотрел на Демиана внимательнее.

— Если твоя сила проснулась недавно, не лезь к ней один. И не испытывай её на людях. Дары иногда берут больше, чем отдают. У меня брат так сгорел изнутри. Не пламенем — просто в один день не проснулся. Перед тем как уснуть, говорил, будто в голове у него звенит колокол. — Старик перевёл взгляд на Освальда. — А ты, корабейник, не таскай мальчика по трактирам, будто он твой новый товар.

— Да я его берегу лучше, чем собственные колени, — возмутился Освальд. — А колени у меня бесценные.

Демиан поблагодарил Хальвара. Тот пожал плечами и снова взялся за сеть. Больше он ничего не сказал.

На обратном пути Освальд не шутил. Шли молча, слушая, как ветер тянет над водой и как за спиной скрипит пустой причал.

— Всё равно пойду искать её, — сказал наконец Демиан.

— Я так и думал, — ответил Освальд. — Только не завтра. Завтра ты выпишься, сходишь на рынок, найдёшь еду получше дорожных сухарей. И погуляешь по городу. Посмотришь, куда попал.

— Я не привык оставаться на месте.

— Вот и привыкнешь понемногу. Не всё же бежать. Иногда полезно постоять и посмотреть, кто вокруг.

Вернувшись в «Китовую Кость», Демиан поднялся к себе. За окном шумело море. Где-то внизу Освальд снова громко рассказывал историю — теперь, кажется, про то, как его однажды приняли за королевского посла, хотя он всего лишь хотел продать набор ложек.

Демиан лёг, не снимая рубахи, и прислушался к городу.

Он не знал, что будет завтра. Не знал, найдёт ли Вёльву и научится ли владеть даром. Не знал даже, надолго ли останется в Хравнсфьорде.

Но никто не гнал его из города. Никто не требовал скрыть уши. Никто не называл его выродком.

Пока этого было достаточно.

За стеной прокатился раскат смеха. Демиан прикрыл глаза. И впервые за долгое время уснул под человеческие голоса — не прислушиваясь к шагам у двери.

ГЛАВА 6. Кровь и травы

Демиан проснулся до рассвета.

Он и сам не понял, что его разбудило — то ли привычка, вбитая годами лесных ночёвок, когда спать долго означало умереть, то ли непривычная тишина комнаты. За окном было ещё темно, только небо на востоке, над морем, едва начало сереть. В «Китовой Кости» спали все — даже Освальд, чей храп глухо доносился из соседней комнаты, мерный и басистый, как прибой.

Демиан полежал немного, глядя в тёмный скат крыши. Потом встал, оделся, натянул куртку. Капюшон взял в руку, помедлил — и оставил на плечах, не накидывая. Он всё ещё не привык к этой свободе и, может, потому и хотел проверить её ещё раз, пока город спит и некого бояться.

Он тихо спустился, вышел на улицу.

Хравнсфьорд на рассвете был другим. Без дневного гвалта, без торговцев и молотов — тихий, серый, продутый ветром. Туман лежал в нижней части города, у воды, и в нём тонули причалы и ближние корабли, так что мачты торчали из белёсой мглы, будто голые деревья. Где-то кричала одинокая чайка. Пахло солью, мокрым деревом и остывшими за ночь очагами. Над крышами, крытыми дёрном, курились первые дымки — кто-то из хозяек уже встал растапливать печь.

Демиан побрёл вниз, к воде. Просто так, без цели. Ему нравилось идти по спящему городу и чувствовать под подошвами влажные доски настила, слушать, как плещет внизу чёрная вода. Он прошёл мимо спящих лодок, мимо развешанных сетей, покрытых каплями, мимо сложенных штабелями бочек. Ветер охлаждал открытые уши, но он не прятал их. Впервые в жизни холод казался ему не врагом, а чем-то честным.

Стук он услышал издали.

Ровный, упрямый, деревянный — *тук... тук-тук... тук...* Кто-то работал. В такую рань, в тумане, один. Демиан пошёл на звук и у дальнего края берега, там, где на подпорках лежал вытащенный из воды корабельный остов, увидел гнома.

Того самого. Он заметил его ещё вчера, с фургона, — приземистого кряжистого мастера с бородой, заплетённой в косы, что распоряжался артелью рослых нордов. Теперь гном был один. В кожаном фартуке поверх рубахи, с засученными рукавами, обнажавшими могучие волосатые руки, он сидел на корточках у борта недостроенной ладьи и загонял деревянным молотком паклю в шов меж досками — конопатил, как это называли корабелы. Рядом стоял горшок с чем-то смолистым и чёрным, тут же лежали инструменты — тесла, долота, свёрла.

Демиан остановился в нескольких шагах. Гном не обернулся, но буркнул, не отрываясь от работы:

— Чего встал за спиной, как привидение голодное? Либо подходи, либо иди, куда шёл. А то стоишь, дышишь в затылок — у меня аж мурашки по хребту, а я мурашек не люблю, я их в детстве весь запас извёл.

— Прости, — сказал Демиан, подходя. — Не хотел мешать. Просто услышал стук.

Гном поднял голову. Глянул снизу вверх — острые тёмные глазки из зарослей бороды пробежались по лицу Демиана, по ушам, по чёрным волосам. Брови — густые, с проседью — поползли вверх.

— О. Полукровка. — Он сказал это без злобы, скорее с деловым интересом, как сказал бы «о, дождь собирается». — Эльфье, да не всё. Тебя, что ль, вчера Пряжка приволок на своей гремучей колымаге? Весь город уже знает. У нас новость бежит быстрее, чем Освальд от кредиторов, а он, скажу я тебе, бегают шустро для своего пуза.

Демиан не сдержал усмешки.

— Меня зовут Демиан.

— Торгрим, — буркнул гном и снова застучал молотком. — Торгрим Железнодорожный, из рода Железнодорожных, корабельный мастер, каких на всём этом мокром побережье больше нет и не будет, покуда я жив, а живу я долго, так что не скоро. — *Тук, тук.* — Чего надо-то? По роже вижу — не просто поглазеть пришёл. У тебя на лбу написано «хочу чего-то спросить, да мнусь». Спрашивай, не мнись, как баба, я мнущихся не люблю ещё пуще мурашек.

Демиан помолчал, собираясь с духом.

— Я ищу одного человека. Женщину. Её тут зовут Вэльвой. Колдунья, живёт где-то в дальних фьордах. Говорят, учит тех, в ком есть... дар. Ты про неё что-нибудь знаешь?

Торгрим перестал стучать. Поглядел на Демиана ещё раз — уже внимательнее, с прищуром. Потом хмыкнул и покачал головой.

— Не-а. Ничего не знаю, и знать не хочу. — Он мотнул бородой в сторону моря. — Я, парень, с ведьмами дел не имею. У меня с ними уговор: они не лезут в моё дерево, а я не лезу в их бабьи заклятья. Я по честному ремеслу: дерево, смола, железо, да руки вот эти. Что потрогать можно — то и моё. А всякое колдовство — тьфу, не люблю. От него у меня в бороде зудит, а борода у меня честная, ей зудеть не положено. — Он снова застучал. — Так что не туда пришёл, ушастый. Ищи знающих. Хальвара вон спроси, лодочника, он по фьордам шастает, может, чего и слышал. А я кораблями занят, мне до ведьм дела нет.

— Я уже спрашивал Хальвара, — сказал Демиан. — Вчера.

— Ну и? Что старый сыч сказал?

— Что живёт за Чёрным Зубом. И что к ней не возвращаются такими, какими пришли.

— Во-от, — удовлетворённо кивнул Торgrim, загоня очередной клочок пакли. — Умный старик, хоть и вредный. Я ж говорю — не связывайся. Строй лучше корабли. От ко-

рабля вреда никакого, одна польза: поплыл да уплыл, куда хошь. — Он глянул на Демиана и, видно, что-то углядев в его лице, добавил чуть мягче: — Да ты не кисни. Не знаю — так не знаю, чего убиваться. Город большой, народу много, кто-нибудь да скажет. А пока — иди, не стой над душой, дай мастеру поработать, покуда туман держится да дерево мягкое...

Он не договорил.

Со стороны складов по дощатому настилу загремели тяжёлые шаги. Из тумана вынырнули двое — рослые, широкоплечие норды, оба на голову выше Демиана и вдвое шире. Один — рыжебородый, с заплетённой в кольца бородой, в кожаной безрукавке на голое тело, несмотря на холод; второй — темнее, со сломанным носом и маленькими злыми глазами. Оба по виду — портовые работники, из тех, что таскают грузы да ворочают брёвна. И оба шли к Торгриму с видом, не предвещавшим ничего хорошего.

— Торgrim! — рявкнул рыжий, останавливаясь над гномом и упирая кулаки в бока. — Вот ты где, борода. Прячешься, что ли?

Гном не поднял головы.

— Прячусь. От дураков. Да видать, плохо прячусь, раз вы меня нашли.

— Ты нам должен, — прогудел второй со сломанным носом. — За смену. Три дня мы тебе брёвна таскали, к воде спускали, остов вон этот ворочали. Уговор был — серебро

по концу. Конец пришёл. Гони монету.

— Уговор был — по концу работы, — спокойно сказал Торgrim, продолжая конопатить. — А работа не кончена. Вы мне вчера полдня прохлаждались да пиво жрали за углом, думали, не вижу. Думали, борода слепая? Борода всё видит. Доделаете, что не доделали, — получите своё до медяка. А за безделье я не плачу. Не из той я породы.

Рыжий побагровел.

— Ах ты пень замшелый! — Он наклонился и сгрёб гнома за ворот фартука, рванул, заставляя подняться. — Да я тебя сейчас, сука, в воду башкой окуну, бородёнку твою отмочу! Гони серебро, покуда цел, падла подгорная!

Вот тут Демиан и понял, что сейчас будет драка.

Он мог бы уйти. Это было не его дело — чужой гном, чужой спор о чужом серебре. Старая осторожность кричала: отступи, не лезь, тебе чужие беды ни к чему, тем более дар твой дикий, рванёт не ко времени — беда будет. Но Торgrim только что, пусть ворчливо, пытался ему помочь. А двое на одного, да ещё коротышку, — этого Демиан, сам всю жизнь битый двое-на-одного, вынести не мог.

— Отпусти его, — сказал он, выступая вперёд.

Норды повернулись. Оглядели его — тощего, в сравнении с ними, да ещё и ушастого, — и рыжий заржал.

— О! Эльфёныш! А ты ещё кто? Защитничек выискался? А ну брысь, покуда и тебе не прилетело, ушастый, не лезь в людской разговор!

— Он сказал, вы не доделали работу, — ровно ответил Демиан. — Значит, не доделали. Доделаете — получите. А руки от него уберите.

— Ах ты ж!..

Рыжий отпустил гнома и кинулся на Демиана.

Дрался норд по-бычьи — размахнулся огромным кулаком от самого плеча, с ходу, вкладывая всю тушу. Будь на месте Демиана человек попроще — снёс бы голову. Но Демиан годы жил среди тех, кто бил первым, и тело его знало, что делать, раньше головы. Он поднырнул под кулак, ушёл вбок — и коротко, зло ударил норда под дых, в солнечное сплетение, куда бил всегда, потому что рослых только туда и проймёшь. Рыжий ухнул, сложился пополам, хватая воздух.

А второй уже навалился сбоку.

Сломанный нос оказался хитрее и быстрее. Он не стал махать — он просто врезался в Демиана плечом, сбивая с ног, и, падая вместе с ним на доски, успел дважды ударить — коротко, жёстко, в лицо. Первый удар Демиан принял скулой, второй — бровью, и мир вспыхнул белым, во рту стало солоно, из рассечённой брови хлынула кровь, заливая глаз.

И тут в драку вступил Торгрим.

Гном оказался стремителен и страшен, как сорвавшийся с горы камень. Он с рёвом ухватил сломанного носа за ногу, дёрнул — тот опрокинулся навзничь, — и обрушил сверху кулак-кувалду, прямо в челюсть, так, что хрустнуло. Норд обмяк.

— ВОТ ТЕБЕ, СУКА! — рычал Торгрим, молотя. — Вот тебе серебро! Вот тебе брёвна! Будешь знать, как бороду мастеру мять, образина!

Рыжий, кое-как отдышавшись, снова полез — на Демиана, который как раз поднимался, отплёвываясь кровью. Демиан встретил его прямым в разбитый уже дых, а когда тот качнулся — добавил локтем в ухо, резко, со всей накопленной за годы злостью. Рыжий покачнулся, оступился на мокрых досках — и с воплем и плеском улетел с края настила прямо в холодную чёрную воду фьорда.

Вынырнул он тут же, отфыркиваясь, матерясь, но лезть обратно уже не торопился. Второй, сломанный нос, стоял на карачках, мотая гудящей головой, и тоже драться больше не рвался.

— Пшли вон, — рыкнул Торгрим, отдуваясь и поправляя смятый фартук. — И чтоб доделали, что начали, тогда и приходите за серебром. А ещё раз руку поднимете — утоплю обоих, как котят, и совесть моя будет чище родниковой воды! Пшли!

Норды, матерясь и отплёвываясь, убрались в туман — рыжий, мокрый насквозь, и его помятый дружок. Торгрим проводил их взглядом, сплюнул им вслед и повернулся к Демиану.

И тут же крякнул.

— Эк тебя разукрасили, ушастый. Погоди-ка. — Он ухватил Демиана за подбородок своей мозолистой лапой, повер-

нул лицо к свету. — Бровь рассекли, скула вон вздувается, губа лопнула. Ну, жить будешь, не помрёшь, но рожа у тебя сейчас — как у меня после свадьбы брата, а свадьба у гномов — это, парень, война с пивом вместо оружия. — Он отпустил его. — Так. Стоять тут и кровью капать на моё честное дерево — не дам. Пошли.

— Куда? — Демиан прижал рукав к брови, пытаясь остановить кровь.

— К Лаэтис. Травнице нашей. Эльфийка, из ваших. У неё руки золотые — что по травам, что по ранам. Залатает тебя, кровь уймёт, чтоб ты мне тут порт не пачкал. — Торгрим уже подталкивал его в спину, прочь от воды, в гору. — И не спорь. Ты за меня дрался, двое на одного полез, хоть мог бы и мимо пройти. Долг за мной. Гном долгов не забывает — ни добрых, ни худых. Пошли, говорю.

Демиан не стал спорить.

Лавка травницы стояла чуть в стороне от рыночной площади — маленький деревянный домик, прижавшийся к склону, с низкой дверью и пучками сушёных трав, развешенными под навесом. От него пахло — ещё издали — лавандой, мятой, чабрецом, дымом каких-то курений и чем-то горьковатым, незнакомым. Над дверью покачивалась связка колокольчиков, которые тихо звенели на ветру.

Торгрим толкнул дверь.

— Лаэтис! Принимай гостя! Тут парню рожу начистили, залатай, будь добра!

Внутри было тепло, сумрачно и тесно от трав. Пучки сухих растений свисали с балок под потолком; по стенам тянулись полки, заставленные глиняными горшочками, склянками, мешочками. В глубине, у очага, что-то тихо булькало в котелке. Пахло так густо и сложно, что у Демиана слегка закружилась голова.

А потом из-за занавеси вышла она.

И Демиан забыл, как дышать.

Эльфийка. Настоящая, чистокровная — высокая, выше его на полголовы, стройная и прямая, как молодая берёза. Волосы — цвета лунного серебра, почти белые, с лёгким пепельным отливом, заплетённые в длинную косу, перекинутую через плечо; выбившиеся пряди обрамляли лицо. А лицо... Демиан за всю жизнь не видел ничего прекраснее. Тонкое, безупречно правильное, с высокими скулами, с прямым изящным носом, с губами, тронутыми бледной розоватостью. Кожа — светлая, гладкая, без единого изъяна, будто выточенная из того самого лунного камня. Длинные острые уши — изящные, точёные, не чета его обрубкам, — выглядывали из серебряных прядей. А глаза — огромные, миндалевидные, цвета весенней листвы, зелёные с золотыми искрами, — глядели спокойно, умно и чуть насмешливо.

Одета она была просто — в длинное платье тёмно-зелёного сукна, перехваченное в талии кожаным поясом, с передником, на котором виднелись пятна от трав и зелий; рукава закатаны, обнажая тонкие, но сильные руки. Но и в этой

простой одежде она была так хороша, что Демиан, привыкший видеть в зеркале лужи собственное получеловечье лицо, вдруг остро устыдился и своей разбитой рожи, и грязной куртки, и всего себя.

— Ох, Торgrim, — сказала она, и голос у неё был под стать всему — низкий для женщины, мягкий, певучий, с лёгким незнакомым выговором. — Опять ты кого-то притащил избитого. В прошлый раз это был ты сам.

— В прошлый раз было за дело, — проворчал гном. — А нынче вот — парень. За меня вступился, двое на одного, да и схлопотал. Залатай его, Лаэтис, по-доброму. Хороший малый, хоть и ушастый. Из ваших наполовину.

Лаэтис перевела взгляд на Демиана. И взгляд этот изменился — скользнул по его ушам, по чёрным волосам, по лицу, и в зелёных глазах мелькнуло что-то новое. Удивление. Интерес.

— Полукровка, — тихо сказала она. — Давно я не встречала нашей крови в этих краях. А уж наполовину — тем паче. — Она подошла ближе, и от неё повеяло травами и чем-то ещё, тонким и свежим. — Садись, полукровка. Дай посмотреть, что с тобой сделали.

Демиан сел на указанный табурет и совершенно потерялся. Он не знал, куда девать руки, куда смотреть. Он — он, который зарезал охотника, дрался с волком, перешёл горы, — сидел пунцовый, как мальчишка, и не мог выдавить ни слова. То ли от её красоты, от которой кружилась голова ху-

же, чем от травяного духа. То ли оттого, что впервые в жизни видел так близко своего — пусть наполовину, пусть не такого, как он, но своего, той же крови, что текла в нём и делала его изгоем везде, кроме вот этого тёплого, пахнущего травами домика.

Лаэтис приподняла его подбородок — так же, как недавно Торgrim, но пальцы у неё были прохладные, лёгкие, — повернула лицо к свету, осмотрела бровь, скулу, губу. Демиан замер, боясь дышать.

— Ничего страшного, — сказала она. — Бровь рассекли, но неглубоко. Скула поболит, да пройдёт. Сейчас уйму кровь и наложу мазь, чтоб не загноилось.

Она отошла, взяла с полки склянку, чистую тряпицу, горшочек с чем-то зелёным и пахучим. Вернулась, присела напротив и принялась обрабатывать рану — осторожно, умело. Прохладное что-то защидало бровь, потом разлилось приятным холодком. Демиан сидел, украдкой разглядывая её лицо так близко, и всё не мог поверить, что это наяву.

— Что молчишь-то? — усмехнулась Лаэтис, не отрываясь от работы. — Язык отшибли заодно с бровью?

— Н-нет, — выдавил Демиан. — Я... просто. Спасибо. Торgrim в углу хмыкнул в бороду.

— Ну, я пойду, — объявил гном. — Корабль ждёт, туман уходит. А ты, ушастый, в надёжных руках, не бойсь. Лаэтис тебя не укусит. Разве что за дело. — Он хохотнул собственной шутке и, уже в дверях, обернулся: — А за драку — спа-

сибо, Демиан. Свидимся ещё. Заходи, как рожа заживёт, пивом угощу.

И ушёл, оставив их вдвоём.

Какое-то время было тихо — только булькал котелок да звенели снаружи колокольчики. Лаэтис накладывала мазь, Демиан сидел смирно.

— Так откуда ты, полукровка? — спросила она наконец. — Нашего народа тут почти не встретишь. А ты и вовсе дитя двух кровей. Редкость.

— Из Империи, — сказал Демиан, чуть осмелев. — Из столицы. Из Клермона. Давно ушёл. Шёл сюда, на север. Через горы.

— Через горы. Пешком. — Она чуть приподняла тонкую бровь. — Долгий путь для человеческой жизни. Зачем?

Демиан помедлил. Но было в ней что-то, чему хотелось довериться, — та же кровь, что ли.

— Ищу одну колдунью. Вёльву. Говорят, она учит тех, у кого есть дар. А у меня... — он запнулся, — у меня, кажется, есть. Магический. Проснулся недавно. Я им не владею, он сам из меня рвётся, когда страшно. Мне нужен учитель, иначе... — он вспомнил слова мэра, Хальвара про сгоревшего брата, — иначе он меня погубит. Вот и ищу. Вёльва живёт где-то на краю севера, за Чёрным Зубом. Говорят, путь к ней — несколько месяцев. Далеко.

Лаэтис остановилась. Посмотрела на него по-новому — внимательно, серьёзно.

— Магический дар, — медленно повторила она. — У полукровки. Это и вправду редкость. В нас, чистокровных, он спит не так часто, а уж в детях двух кровей... — Она покачала головой. — А ведь это объясняет. Я почувствовала что-то, едва ты вошёл. Воздух вокруг тебя... звенит. Тихо, но звенит. Я думала — показалось.

— Ты тоже это чувствуешь? — Демиан подался вперёд. — Освальд говорил, воздух будто колышется.

— Чувствую. У меня самой есть малая толика дара, оттого и чувствую чужой. — Она отложила тряпицу. — Я ведь не просто травница, полукровка. Я была в учении. Мой наставник — он живёт в Конунгсгарде, в столичном городе здешних конунгов, что стоит на берегу большого фьорда к северу отсюда. Человек, как ни странно. Старый лекарь и травник, великой учёности. Но не только травник. Он ещё и маг — слабый, правда, из тех людей, кому дар достался скупое, по капле. Но знает он о магии больше, чем кто-либо из тех, кого я встречала. Он и меня учил — и травам, и тому немногому из магии, что я способна удержать.

Демиан слушал, затаив дыхание.

— А он... он мог бы научить? Такого, как я?

Лаэтис чуть улыбнулась — грустно.

— Не знаю. Он слаб в самой силе — он больше знает, чем может. Но знает он много. Если твой дар так велик, как я чувствую, тебе нужен кто-то сильный. Вёльва, о которой ты говоришь, — коли слухи не врут, — может, и сильнее моего

наставника во сто крат. Но и опаснее. Северные ведьмы берут за науку страшную цену. — Она помолчала. — Я бы на твоём месте сперва пошла к ней, раз уж решил. А не выйдет — что ж, до Конунггарда путь не близок, много недель пути вдоль побережья, но мой наставник хотя бы не потребует с тебя душу в уплату. Только травы собирать да книги переписывать.

— Я так и думаю, — кивнул Демиан. — Сперва к Вэльве. А не выйдет — в Конунггард.

Он осёкся. И вдруг заметил, что всё это время, говоря о таких важных вещах, нет-нет да и залипал взглядом на её лице. И она это заметила тоже.

Лаэтис склонила голову набок, и в зелёных глазах заплясали лукавые золотые искры.

— А скажи-ка мне, полукровка, — протянула она с мягкой усмешкой, — чего ты краснеешь всякий раз, как я на тебя гляну? И глаза отводишь, и мямлишь. Я тебе приглянулась, что ли?

Демиан вспыхнул до самых ушей. Кровь бросилась в лицо так, что рассечённая бровь заныла.

— Я... нет... то есть... — забормотал он, глядя в пол, запинаясь на каждом слове. — Я просто... ты очень... я не хотел... я никогда не видел... своих... близко... и ты...

Он совсем запутался и замолчал, пунцовый, несчастный. Лаэтис звонко рассмеялась — тепло, без всякой злости, — и смех её был как те колокольчики над дверью.

— Ох, полукровка, полукровка. — Она утёрла уголок глаза. — Какой же ты ещё мальчишка. Милый, но мальчишка. — Она покачала головой. — Ты мне в правнуки годишься, дитя. Мне сто лет.

Демиан поднял на неё изумлённые глаза.

— Сколько?..

— Сто. С небольшим. — Она усмехнулась, видя его лицо. — Что, не похоже? Для вас, живущих быстро, я и впрямь выгляжу на лет двадцать. А для нашего народа я ещё почти дитя. Юность. — Она присела напротив, и голос её сделался мягче, наставительнее — будто рассказывала то, чего он, полукровка, выросший среди людей, никогда и не знал. — Слушай, раз уж ты нашей крови, а не знаешь ничего о себе. Мы, эльфы, живём иначе, чем люди. Долго. В среднем по три-четыре века, а иные и вообще могут дожить и до пяти-сот лет. И потому и взрослеем медленно. До тридцати мы — дети. К пятидесяти — юнцы, вот как ты сейчас по людским меркам. А настоящая зрелость, расцвет, приходит к нам годам к ста пятидесяти — и держится потом веками. Мне сто. Я только-только вступаю в пору, когда вы, люди, уже лежите в земле и внуки ваши седеют. Так что для меня ты, — она улыбнулась, не обидно, — совсем, совсем маленький. Дитя дитём.

Демиан сидел, оглушённый. Он знал, что эльфы живут долго, — все это знали, — но вот так, лицом к лицу, услышать, что сидящая перед ним девушка старше его деда, стар-

ше всех, кого он знал, вместе взятых...

— А я? — вырвалось у него. — Я ведь... наполовину. Сколько я проживу, не знаешь?

Лаэтис посмотрела на него — внимательно, оценивающе. Протянула руку, снова коснулась его лица — на этот раз словно вглядываясь во что-то глубже кожи.

— Долго, — сказала она наконец. — Не как мы. Но долго. Кровь в тебе смешана, и людская тянет тебя вниз, к быстрой жизни, а наша — вверх, к медленной. Где-то посредине ты и ляжешь. — Она подумала. — Думаю, лет двести проживёшь. Может, и больше, коли не убьют, что при твоей дороге немудрено. Не четыре века, как чистокровный. Но и не жалкие шесть десятков, как человек. Ты будешь жить, полукровка, когда все, кого ты знал среди людей, давно обратятся в прах. И твой коробейник. И тот гном, что тебя привёл, — даже он, хоть гномы и живучи. Ты их всех переживёшь. — Голос её чуть погрустнел. — Это и дар, и проклятие нашей крови, дитя. Долгая жизнь — это долгое одиночество. Привыкай. Или учись не привязываться к другим. Хотя, — она усмехнулась, — последнему никто из нас так и не научился.

Демиан молчал, оглушённый этим знанием. Двести лет. Он никогда об этом не думал — он и до завтра-то не всегда знал, доживёт ли. А оказалось, в нём, в его смешанной крови, заложены века. Века, в которые уйдут один за другим все, кто был к нему добр. Бьёрри. Тордис. Освальд. Мэр. Даже эта насмешливая прекрасная эльфийка — нет, она-то останется,

она его переживёт...

— Ну-ну, не кисни, — мягко сказала Лаэтис, видя, как он сник. — Я тебя не напугать хотела, а чтоб ты знал, кто ты есть. Знание — оно всегда лучше незнания, хоть и горчит. — Она поднялась, вытерла руки о передник. — Ну вот. Кровь я тебе уняла, мазь наложила. Через седмицу и следа не останется — заживает на вас, эльфийской крови, всё быстро, ещё одно наше свойство, кстати говоря. Держи вот, — она сунула ему в руку маленький горшочек, — мазь. В дороге пригодится, ты, я гляжу, из тех, кто без синяков и дня не проживёт. Мажь раны — не загноятся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.